

ПОКА ВИДЕН БЕРЕГ

роман

НАТАЛЬЯ
ШПЕТНАЯ



Наталья Шпетная

Пока виден берег

<https://litres.ru/74680979>

SelfPub; 2026

Аннотация

Иван Бунин родился в мире усадебных садов, старых книг, дворянской гордости и семейной бедности. Он рано понял: всё дорогое исчезает — дом, любовь, молодость, страна. Остаются память и слово, если оно найдено точно.

Путь будущего нобелевского лауреата проходит через редакции провинциальных газет, первые литературные победы, мучительные чувства, смерть маленького сына, славу и разочарования. Рядом с ним — женщины, изменившие его судьбу: требовательная Варвара Пашенко, прекрасная и чужая Анна Цакни, мудрая Вера Муромцева — спутница и самый честный собеседник.

Революция лишает Бунина России. В 1920 году он покидает Одессу, глядя, как берег растворяется в тумане. Впереди — Париж, эмигрантская нужда, мировое признание, Нобелевская премия и новая цена любви.

«Пока виден берег» — роман о писателе, который пытался удержать исчезающее: запах антоновских яблок, голос матери, первую любовь, русскую зиму, право оставаться собой.

Содержание

Глава 1. Воронежский снег	4
Глава 2. Имение, которого уже нет	17
Глава 3. Елец	34
Глава 4. Брат Юлий	52
Глава 5. Первое напечатанное слово	70
Глава 6. «Орловский вестник»	85
Глава 7. Варвара	102
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Наталья Шпетная

Пока виден берег

Глава 1. Воронежский снег

В тот год зима пришла в Воронеж рано и без всякого предупреждения.

Ещё накануне по мостовым тянулась грязь, тяжёлая, как плохо замешанное тесто; лошади шли, осторожно ставя копыта, а прохожие поднимали полы пальто и юбок с тем бесполезным усердием, с каким люди вообще пытаются сохранить достоинство в русскую распутицу. Но к утру город побелел. Крыши, палисадники, чёрные ветви за окнами, колеи на дороге – всё оказалось прикрыто тонким, ещё непрочным снегом.

В доме, где снимали комнаты Бунины, было жарко, тесно и тревожно.

Алексей Николаевич Бунин ходил из угла в угол так быстро, что половик под ним начал сбиваться к стене. Он был человеком, которому легче было встретиться с необъезженной лошадью, проиграть в карты сумму, о которой потом придётся сожалеть, или вступить в спор с помещиком вдвое богаче себя, чем сидеть в передней и ждать, пока за закрытой две-

рю решается то, чего он не мог ни ускорить, ни отменить.

– Да сядьте вы, Алексей Николаевич, – сказала повитуха, появляясь на пороге. – Пол проломите.

– Пол старый, – ответил он, остановившись. – Ему полезно знать, что в доме есть жизнь.

Она посмотрела на него без одобрения: шутка в такую минуту представлялась ей неуместной. Но Алексей Николаевич уже отвернулся к окну.

Там, за стеклом, стоял тихий белый город. Дым из труб поднимался прямо, не встречая ветра. На улице мальчишка в слишком большой шапке гонял палкой промёрзший ком грязи, который с первого взгляда можно было принять за камень. Извозчик, укрывшись воротником, терпеливо ждал пассажира. Всё шло своим порядком, и это почему-то сердило Алексея Николаевича.

Наконец из комнаты донёсся младенческий крик – не особенно громкий, но настойчивый, будто новорождённый сразу хотел заявить, что появился на свет не по собственной прихоти и потому имеет право быть услышанным.

Повитуха вышла, вытирая руки полотенцем.

– Сын, – сказала она.

Алексей Николаевич несколько секунд смотрел на неё, как смотрят на человека, сообщившего нечто слишком важное, чтобы немедленно поверить.

– Сын, – повторил он и вдруг улыбнулся. – Ну, вот. Значит, будет кому спорить со мной в старости.

Мальчика назвали Иваном.

Его мать, Людмила Александровна, лежала бледная, измученная, но спокойная. Когда ребёнка принесли ей, он уже перестал кричать и смотрел куда-то поверх её плеча – так серьёзно, что она невольно перекрестила его маленький лоб.

– Глаза-то какие, – сказала она тихо.

– У всех младенцев глаза одинаковые, – заметил муж, подходя ближе.

– Нет, – возразила Людмила Александровна. – Не одинаковые.

Она не могла знать, конечно, что этот ребёнок будет помнить всю жизнь не только лица и слова, но оттенки неба над полем, свет в окне, запах яблок в холодном сарае, звук колёс по осенней дороге. Не могла знать, что ему суждено будет прожить долгую жизнь среди книг, отелей, поездов, газетных редакций, чужих городов и чужих языков – и всё-таки снова и снова возвращаться мыслью к русскому снегу, к тёмным садам, к ветру в голых ветвях.

Пока что он был просто младенцем, тёплым, беспомощным и неожиданно тяжёлым на руках.

О происхождении Буниных в семье говорили охотно, хотя денег от происхождения не прибавлялось.

В старом шкафу, среди белья, писем, фотографий и вещей, назначение которых давно забылось, хранились бумаги с печатями, выписки, свидетельства, какие-то родословные

ветви. Из них следовало, что Бунины – дворяне старинные, что среди предков имелись люди служилые, военные, государственные. Ребёнку Ване всё это казалось чем-то вроде семейной сказки: как рассказы о богатырях, разбойниках или старых царях.

Только в сказках древность непременно вела к кладам и дворцам, а в жизни она чаще приводила к заложенному имению, просроченным платежам и разговорам, которые взрослые прекращали, как только в комнату входили дети.

У Буниных было имя. Было прошлое. Была привычка держаться так, словно за спиной всё ещё стояли обширные земли, крепкие дома, людские дворы и конюшни, полные лошадей.

Но прежний уклад уже трещал, и треск этот слышался не сразу: сперва в мелочах.

У старого сюртука отца лоснились локти. Мать велела экономить свечи. На кухне иногда говорили, что муки осталось на неделю, хотя потом почему-то появлялись пироги для неожиданного гостя. В разговоре о лошадях Алексей Николаевич оживлялся, в разговоре о долгах – делался насмешлив, а потом вдруг уходил из дома, громко хлопнув дверью, будто виноват в неприятностях был не он, а сама дверь.

Он любил охоту, лошадей, простор, шумный разговор, хорошее вино и людей, способных слушать его с восхищением. Он умел быть щедрым, когда щедрость была совершенно некстати; умел жалеть чужого мужика, но не всегда замечал,

что собственным детям нужна новая обувь; мог вспылить из-за пустяка и через час уже обнимать того, на кого сердился.

Людмила Александровна была устроена иначе. В ней не было громкости. Она словно берегла силы для вещей, которые нельзя решить ни криком, ни шуткой: для болезней детей, тревожных писем, домашних расчётов, долгих ожиданий. Она любила церковные праздники, старинные песни, семейные воспоминания. И ещё – книги. Иногда, когда в доме затихали голоса, она читала у окна, поднеся лист близко к лицу, и её спокойное выражение менялось: становилось внимательным, печальным, почти юным.

Иван рос среди этой двойственности: отцовской беспечности и материнской тревоги, разговоров о былом достоинстве и ежедневной необходимости выкручиваться из настоящего.

Позже ему казалось, что детство всегда пахло не одним запахом, а несколькими сразу: тёплой шерстью, воском, яблочной кожурой, мокрой землёй, самоварным дымком, сеном, лошадиным потом, материнским платком, который зимой пах морозом.

Воронежские комнаты остались в памяти неясно. Гораздо яснее – деревня.

Когда ему было три года, семья перебралась в имение Бутырки, в Елецком уезде Орловской губернии. Туда везли детей, сундуки, посуду, скрипучую мебель, книги, домашние

мелочи, без которых, как уверяла мать, нельзя начать новую жизнь даже в собственном доме.

Иван дорогу почти не запомнил. Осталось только ощущение долгого качания, материнская рука поверх одеяла, запах дорожной пыли, потом сон – и внезапное пробуждение от того, что за окном уже не было города.

Была равнина.

Она открылась ему не в один миг, а постепенно. Сначала – за плетнём, потом за огородом, потом за дорогой, потом за дальним перелеском. И чем старше он становился, тем больше понимал: равнина не заканчивается там, где её перестаёт видеть глаз. Она просто продолжается без тебя.

Дом в Бутырках не был ни большим, ни особенно нарядным. Деревянный, с низкими комнатами, с печами, которые зимой дышали сухим жаром, с окнами, покрывавшимися утром ледяными листьями. Но вокруг дома был сад – старый, не слишком ухоженный, с яблонями, вишнями, кустами смородины, зарослями крапивы в дальнем углу и дорожками, которые после дождя становились такими вязкими, что сапоги приходилось вытаскивать из земли с усилием.

Сад сделался для мальчика первым государством.

В нём были свои владения: толстая яблоня с раздвоенным стволом; скамья, на которой летом сушили бельё, а зимой её почти целиком заносило снегом; старый сарай с сеном; крапива, которую следовало обходить стороной; яма за огородом, куда запрещали ходить; и дальняя часть сада, где дере-

вья стояли тесно, темно и таинственно, словно там начиналось уже не хозяйство, а лес.

Ваня мог часами бродить один. Не потому, что был нелюдим, – напротив, он любил слушать взрослых, любил, когда его замечали, когда брат или сестра брали его в игру. Но одиночество в саду не казалось одиночеством. Там всё было занято собственной жизнью: муравьи тащили свою невидимую поклажу, птицы ссорились в ветвях, листья шептались, ветер менял запах травы.

Однажды, в конце августа, он нашёл под яблоней плод, уже тронутый тёмной гнилью. Яблоко было холодным, жёлтым, с красным боком. Он поднял его, понюхал – и запах оказался таким сильным, терпким, сладким, с примесью сырой земли, что мальчик замер.

– Не ешь, – сказала за его спиной мать. – Оно испорчено.

Он послушно положил яблоко обратно.

– А почему пахнет хорошо?

Людмила Александровна посмотрела на него и улыбнулась.

– Потому что не всё хорошее годится для еды.

Этот ответ он запомнил, хотя тогда не понял. Позже ему не раз приходилось убеждаться: красота редко бывает удобной, а то, что особенно дорого сердцу, нередко уже несёт в себе начало исчезновения.

В доме жила большая семья, и ребёнок быстро понял, что

любовь взрослых распределяется неравномерно, хотя никто не желает в этом признаться.

Старшие были уже почти отдельными людьми. Они знали что-то о мире, чего он ещё не знал: умели читать длинные книги, разговаривать шёпотом, уходить за ворота без разрешения, сердиться друг на друга по причинам, непостижимым для младших. Особенно выделялся Юлий – старший брат, худой, серьёзный, с привычкой смотреть так, словно всякая фраза требует проверки.

Когда Юлий приезжал или появлялся в доме после своих занятий, Ваня старался держаться поблизости. Не лезть, не надоедать, а просто быть рядом: сидеть на полу с деревянной лошадкой, листать книжку вверх ногами, слушать.

Юлий говорил не так, как отец. Без громких жестов, без охотничьих историй, без внезапных вспышек веселья. Он мог произнести несколько слов – и после них в комнате становилось тише. Ему верили даже те, кто спорил с ним.

Однажды вечером, когда за окнами уже стояла густая осенняя темень, отец сказал за ужином:

- Главное для мужчины – не давать себя в обиду.
- Главное для мужчины – не давать себя в невежество, – заметил Юлий.
- Вот видишь, – Алексей Николаевич усмехнулся. – Учёность с тобой сделала ужасную вещь: ты перестал понимать простые слова.
- Напротив. Я перестал считать их простыми.

Людмила Александровна тихо произнесла:

– Не при детях.

– А дети пусть слушают, – сказал отец. – Авось один из них вырастет умнее нас.

Ваня не знал, кого именно имеет в виду отец – Юлия, его или всех сразу. Но от этих слов ему стало приятно и тревожно. Он почувствовал: быть умнее взрослых – это не только почётно. Это ещё и опасно.

В Бутырках сменялись времена года, и каждое казалось окончательным.

Зимой снег ложился ровными полями до самого горизонта. Дорога исчезала, оставляя только накатанную колею. В сильные морозы деревья стреляли по ночам – сухо, звонко, будто кто-то ломал огромные стеклянные палки. Утром на окнах вырастали ледяные сады, прекраснее настоящих, но недолговечные: стоило затопить печь сильнее, и они начинали таять, съёживаться, стекать прозрачными каплями.

Весна приходила не ласково, а шумно. Снег делался серым, земля – чёрной, дороги – непролазными. Вода стояла в колеях, вороны кричали над голыми деревьями, и вся деревня пахла дымом, навозом, мокрой соломой и чем-то молодым, тревожным, неумолимым.

Летом мир становился почти невыносимо богат. Пыльные дороги, лопухи у заборов, сладкий запах сена, грозы, после которых сад казался вымытым и больше обычного, тёплые

вечера с далёкими песнями. Иван учился различать голоса птиц, по звуку дождя угадывать, долго ли он продлится, по походке взрослого понимать, в каком тот настроении.

Осень была его любимым временем, хотя он ещё не умел назвать это любовью.

Осенью всё обнажалось: запах земли делался сильнее, воздух – прозрачнее, разговоры в доме – громче, потому что окна закрывали. В саду падали яблоки. Вечером издалека тянуло дымом: где-то жгли листья или топили баню. И было в этой поре нечто такое, что заставляло его вдруг остановиться посреди дорожки, ничего не делать, только смотреть.

Он не знал, что именно теряет в такие минуты. Ведь ничего ещё не было потеряно.

Но, может быть, чувство утраты рождается раньше самой утраты – в ту минуту, когда ребёнок впервые понимает, что солнечный свет на стене, запах яблока, голос матери из окна не будут длиться вечно.

Отец однажды взял его с собой к лошадям.

Конюшня стояла за домом. Внутри было полутемно, тепло и пахло так сильно, что у мальчика сначала закружилась голова: сеном, кожей, паром, навозом, чем-то крепким и живым. Лошади переступали в стойлах, фыркали, косили большими влажными глазами.

– Вот это, брат, животное, – сказал Алексей Николаевич, похлопав по шее гнедую кобылу. – Не то что люди. У лоша-

ди, если характер есть, он честный.

– А у людей нечестный?

Отец рассмеялся.

– У людей характер всегда с примесью расчёта.

Он поднял сына и усадил на широкую спину смирной старой лошади. Ваня вцепился в гриву, почувствовал под собой горячее движение мышц и вдруг испугался не падения, а высоты: мир оказался дальше, чем он думал. В щели конюшни виднелось небо – холодное, бледное, огромное.

– Не бойся, – сказал отец. – Мужчина должен сидеть прямо.

Ваня выпрямился.

С тех пор он долго помнил не слова, а это усилие: выпрямиться, когда страшно.

Позже он поймёт, что человек может всю жизнь держаться прямо – и всё же быть полон страха, сомнений, боли. Но детство не терпит сложных выводов. Оно сохраняет только картину: тёплая лошадиная спина, рука отца рядом, холодное небо в щели.

Вечером Людмила Александровна читала детям вслух.

Они сидели в гостиной. Лампа под абажуром освещала стол, книгу, её тонкие пальцы. Всё за пределами света казалось несуществующим: и коридор, и кухня, и сад, и вся огромная Россия за садом. Отец иногда слушал, иногда дремал в кресле, иногда перебивал чтение замечанием, которое

никому не требовалось.

– Это она слишком печально читает, – говорил он. – Так и ребёнка можно испортить.

– Ребёнка портит не печаль, – отвечала мать. – Ребёнка портит пустота.

Он хмыкал, но не спорил.

Ваня слушал слова, не всегда понимая их значение. Однако ему нравилось, как одни слова текут медленно, другие вдруг ударяют, третьи оставляют после себя тишину. Он начинал догадываться, что в словах есть особая власть: ими можно вызвать то, чего нет в комнате; заставить человека увидеть далёкий город, услышать море, испугаться, пожалеть, заплакать, хотя ничего с ним не случилось.

Однажды мать закрыла книгу, заметив, что младший сын уже не слушает.

Он сидел у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу.

– О чём ты там думаешь? – спросила она.

Он повернулся не сразу.

За окном был сад. Луна стояла над чёрными ветвями, и снег – первый снег новой зимы – начинал тихо падать на землю.

– О том, что сад ночью другой, – сказал он.

Мать посмотрела в окно, потом на сына.

– Да, другой.

– А куда он девается днём?

Она улыбнулась, но не ответила.

Возможно, потому, что не знала ответа. Или потому, что некоторые вопросы не нужно торопиться объяснять ребёнку: пусть они останутся с ним, вырастут вместе с ним, станут его собственным способом смотреть на мир.

Иван снова повернулся к окну.

Снег падал беззвучно. Дом за его спиной был тёплым, освещённым, полным голосов. Но сад уже принадлежал ночи – огромной, безлюдной и прекрасной.

Он ещё не умел писать.

Зато уже умел смотреть.

Глава 2. Имение, которого уже нет

В Бутырках всё имело привычку стареть на глазах.

Старел дом – не величественно, как стареют каменные московские особняки, приобретая от времени достоинство, а по-деревенски: оседал одним углом, темнел брёвнами, скрипел половицами, выпускал тепло из щелей, которые каждую осень затыкали паклей. Старели сараи, у которых провисали крыши. Старел сад: одни яблони ещё давали плоды, другие стояли сухие, с расщеплёнными стволами, и весной казалось почти невозможным, что на них снова появятся листья.

Даже вещи в доме старели с какой-то поспешностью.

Медный самовар покрывался пятнами, которые кухарка не успевала оттирать. Зеркало в гостиной темнело по краям, и лица в нём выглядели так, будто их уже слегка припорошило временем. На обивке кресел проступали нитки. В столовой стоял буфет с резными дверцами – массивный, тёмный, будто присланный сюда из той поры, когда у Буниных было достаточно прислуги, чтобы каждое утро натирать его до блеска.

Теперь буфет открывали осторожно.

Там ещё держали графины, рюмки, старый фарфор с тонкой синей каймой, но доставали всё это нечасто. Для гостей – если гость был важный. Или для праздника. Или когда Алек-

сей Николаевич, проснувшись в особенно хорошем настроении, заявлял, что жить надо не как бедняки, а как люди, помнящие, кто они такие.

На такие слова мать обычно поднимала глаза от шитья.

– Помнить – дело хорошее, – говорила она. – Только сахар от памяти не прибавляется.

Отец морщился.

– Ты всё о хозяйстве.

– Потому что хозяйство не умеет говорить само за себя.

– Хозяйство, Людмила, – это мелочная тирания.

– А долги?

– Долги – временное недоразумение.

– Они у нас очень постоянные.

После этого Алексей Николаевич мог рассмеяться, обнять жену за плечи, назвать её своим домашним министром финансов – с таким видом, будто этим титулом оказывал величайшую честь. Мать не отстранялась, но и не улыбалась сразу. Она слишком хорошо знала: у весёлого расположения духа мужа была удивительная способность обходиться дорого.

Иван, которому исполнилось уже шесть, сидел в такие минуты тихо. Он понимал не всё, но понимал главное: существуют слова, после которых взрослые говорят тише. «Закладная». «Проценты». «Продажа». «Отсрочка». «Уездный предводитель». «Банк».

Они не были страшными, как волки из сказки или тёмный чулан. Они были хуже: невидимыми. Волка можно пред-

ставить, чулан можно обойти, а что делать с «процентами», Иван не знал. Он только замечал, как от этих слов мама бледнеет, а отец вдруг начинает особенно громко звенеть ложкой о стакан.

В один из мартовских дней в Бутырки приехал человек в сером пальто, с жёстким воротничком и кожаным портфелем.

Его встретили не как гостя.

Кухарка, увидев с крыльца незнакомую повозку, сразу ушла на кухню и принялась с ожесточением рубить капусту. Старшая сестра Мария закрыла книгу, не дочитав страницы. Отец, который только что весело рассказывал что-то про охоту, замолчал на полуслове и велел Ване с младшими не путаться под ногами.

– А кто приехал? – спросил Иван.

– Человек по делу.

– По какому?

– По такому, по которому детям лучше не спрашивать.

Отец сказал это без злости, но мальчик всё равно почувствовал себя отодвинутым от важного. Он вышел в сени, потом – на заднее крыльцо. Там было сыро. Снег лежал грязными островами, с крыши капало, у забора чернела земля. В саду кричали грачи, словно спорили между собой о чём-то неотложном.

Иван обошёл дом, стараясь ступать по твёрдым местам.

Окно гостиной было чуть приоткрыто. Изнутри доносились голоса.

– ...не первый раз вам говорят, Алексей Николаевич, – произнёс незнакомый, ровно и без удовольствия. – Я приехал не для того, чтобы осложнять вам жизнь.

– Благородно с вашей стороны, – отозвался отец.

– Я приехал, потому что сроки...

– Сроки, сроки. У вас, сударь, должно быть, в голове вместо мозгов календарь.

– У меня, Алексей Николаевич, есть поручение.

– У всех теперь поручения. Никто не приезжает просто выпить чаю и поговорить о погоде.

– Папа, – тихо сказала мать.

После этого наступила тишина. Даже грачи, казалось, перестали кричать.

Иван присел под окном. Он не хотел подслушивать – по крайней мере, не хотел считать, что подслушивает. Просто слова взрослых иногда сами находили ребёнка, как холодный сквозняк находит щель в окне.

– Часть земли придётся уступить, – сказал человек в сером пальто.

– Землю? – голос отца стал низким. – Какую часть?

– Ту, что указана в бумагах.

– В бумагах у вас, вероятно, и солнце указано. И воздух. И могилы.

– Алексей Николаевич, прошу вас...

– Нет, это вы меня просите вас. Вы приезжаете сюда, садитесь в моём доме, пьёте мой чай...

– Чай, между прочим, мой, – вдруг сухо заметила мать.

Незнакомец кашлянул. Отец, вероятно, посмотрел на неё, потому что затем раздался его короткий, невесёлый смех.

– Вот видите, – сказал он. – Даже чай уже не мой.

Мальчик не понял, почему у него защипало в глазах.

Он знал, что земля начинается за огородом, тянется к дороге, к лугу, к далёкому лесу. На ней росла рожь, по ней ездили телеги, в ней после дождя вязли сапоги. Земля была настолько большой, что не могла принадлежать кому-то одному и тем более исчезнуть из-за листа бумаги.

Но взрослые, как видно, умели делать с землёй страшные вещи.

Вечером мать долго сидела в своей комнате.

Она не зажигала лампу, только поставила свечу на стол. Пламя двигалось от сквозняка, и тень её головы скользила по стене. Перед ней лежали бумаги, счётная книжка и небольшая шкатулка, обитая выцветшим зелёным бархатом.

Иван остановился в дверях.

– Мама.

Она вздрогнула, быстро закрыла шкатулку ладонью.

– Что, Ванечка?

– Ты плачешь?

– Нет.

Он подошёл ближе. На щеке у неё действительно блеснула слеза, но мама вытерла её так быстро, словно слеза была чем-то неприличным.

– Этот человек заберёт сад?

– Нет, милый. Сад никто не заберёт.

– А землю?

Она помолчала.

– Земля останется там, где была.

– Тогда почему все сердятся?

Мать подняла его на колени. Он уже считал себя почти большим и обычно не любил, когда с ним обходились как с маленьким, но теперь прижался к ней без сопротивления.

– Потому что иногда люди забывают, – сказала она, – что им дано не навсегда.

– Кто забывает?

– Все. И твой папа. И я. И тот человек в сером пальто.

Только каждый по-своему.

– А нам кто дал землю?

– Наши предки. И Господь. А теперь... теперь надо думать, как жить дальше.

Иван посмотрел на шкатулку.

– Что там?

– Вещи.

– Какие?

– Старые.

Это была неправда, и оба это знали. В шкатулке лежали не

просто старые вещи. Там были серьги, которые мать надевала только в праздники, тонкая золотая цепочка, перстень с камнем тёмно-красного цвета, ещё какие-то мелочи, завернутые в бумагу. Когда она открывала шкатулку, оттуда исходил слабый холодный блеск – такой же, как от инея на оконном стекле.

– Ты их продашь? – спросил он.

Людмила Александровна посмотрела на сына внимательно.

– Может быть.

– А потом купишь обратно?

– Может быть.

Он подумал и спросил:

– А если не купишь?

Мать улыбнулась. Теперь уже по-настоящему, хотя глаза у неё оставались усталыми.

– Тогда будем помнить, какие они были красивые.

Эта мысль показалась ему ужасной.

Зачем помнить красивое, если можно его оставить у себя?

Но он ничего не сказал. Только взял мать за руку и увидел, что на одном пальце у неё нет кольца, которое он прежде часто разглядывал: синий камень в нём казался кусочком черного неба.

Весной отец сделался особенно деятельным.

Он ездил куда-то с раннего утра, возвращался поздно,

мокрый, злой или оживлённый. Рассказывал, что «всё устроится», что есть знакомые, что деньги могут прийти со дня на день, что один человек в городе – редкий мерзавец, а другой, напротив, порядочный человек и обещал помочь.

– Кто? – спрашивала мать.

– Неважно.

– Если неважно, значит, не поможет.

– Людмила, ты обладаешь редким даром: ты умеешь заранее огорчаться даже тому, что ещё не произошло.

– А ты умеешь заранее радоваться тому, что никогда не произойдёт.

Отец бросал на стол перчатки.

– Вот и поговорили.

Однако на следующий день всё начиналось снова.

Иван видел, как отец перед отъездом долго расчёсывает усы, надевает лучший сюртук, хотя на рукаве уже лоснится ткань, и смотрится в зеркало с выражением человека, который намерен лично убедить судьбу в том, что она ошиблась адресом.

В этом было что-то смешное. И что-то трогательное.

Отец не умел сдаваться красиво, потому что вообще не умел сдаваться. Ваня ещё не мог судить его, но уже чувствовал: папа живёт так, словно неприятности – это невежливые гости, которых можно перекричать, пересидеть или угостить вином, а потом они сами уйдут.

Иногда они и вправду уходили.

Но чаще оставались.

В июне приехал дядя, дальний родственник со стороны матери. Его звали Сергей Петрович, и он был человеком сухощавым, аккуратным, с такими чистыми сапогами, словно земля под ним не смела пачкаться.

Он говорил негромко, но все слушали.

За обедом он похвалил суп, спросил у детей, учатся ли они, и рассказал отцу, что в губернии снова продают одно имение, «почти даром, если иметь наличные». Алексей Николаевич сначала оживился.

– Где?

– Да тебе-то зачем? – спросила мать.

– Как зачем? Земля всегда земля.

Сергей Петрович медленно положил ложку.

– Алексей, тебе бы с той землёй, что есть, разобраться.

Отец изменился в лице.

– Спасибо за совет.

– Я не советую. Я напоминаю.

– А я, видишь ли, не просил напоминать.

– Потому и приходится.

Людмила Александровна закрыла глаза. Мария опустила голову. Ваня смотрел то на одного взрослого, то на другого, чувствуя, как в комнате становится тесно.

Сергей Петрович отодвинул тарелку.

– Ты думаешь, честь рода заключается в том, чтобы про-

должать играть роль богатого помещика, когда денег нет даже на починку крыши?

– А ты думаешь, честь рода заключается в том, чтобы считать чужие деньги?

– Нет. В том, чтобы не оставлять детям одни разговоры о предках.

Отец встал.

Стул отлетел назад и ударился о стену.

– Дети мои, – сказал он, обращаясь не к детям, а ко всем сразу, – имеют отца, а не бухгалтера.

И вышел.

Сергей Петрович некоторое время смотрел на закрытую дверь. Потом тихо произнёс:

– Вот именно это и страшно.

Мать встала из-за стола.

– Вы оба неправы, – сказала она. – Но один из вас мой брат, а другой мой муж. Поэтому прошу: хотя бы в моём доме не заставляйте меня выбирать, кого из вас мне стыднее любить.

Сергей Петрович покраснел. Он хотел возразить, но не стал.

Вечером он уехал раньше, чем собирался.

После его отъезда отец два дня почти не разговаривал.

Он ходил по дому, курил у крыльца, один раз велел оседлать лошадь, но потом передумал. На третий день позвал Ва-

ню.

– Пойдём со мной.

Они вышли за сад, туда, где дорога спускалась к низине. День был жаркий, травы стояли высокие, белые облака медленно двигались по огромному небу. Отец шёл широко, не оглядываясь. Мальчик едва поспевал за ним.

– Устал? – спросил Алексей Николаевич.

– Нет.

– Врёшь. Но правильно. Мужчина не должен сразу объявлять о своей усталости.

Они дошли до места, где начиналось поле. Отец остановился.

– Видишь?

– Вижу.

– Вот это всё... – он обвёл рукой простор перед собой. – Всё это было у нас. У Буниных. И ещё больше.

Иван смотрел на поле. Оно колыхалось под ветром, будто дышало.

– А теперь не наше?

Отец долго молчал.

– Теперь многое уже не наше.

– Почему?

– Потому что жизнь, Ваня, – хитрая штука. Думаешь, держишь её за узду, а оказывается, это она тебя ведёт, куда захочет.

– А её можно побить?

Отец рассмеялся так неожиданно, что вспугнул жаворонка в траве.

– Вот это по-нашему! Нет, её не побьёшь. Но можно не дать ей увидеть, что ты испугался.

Он положил руку сыну на голову.

– Запомни: человек может потерять деньги, дом, землю. Но если он не потерял себя – ещё не всё проиграно.

Эти слова Иван запомнил. И много лет спустя, в совсем иной стране, среди чужих улиц и чужого неба, они вернутся к нему с мучительной ясностью.

Только тогда он поймёт: иногда человек не теряет себя не потому, что оказался сильнее судьбы, а потому, что ему просто некуда больше отступать.

Летом в доме стали продавать вещи.

Не сразу и не открыто. Сначала исчезли из гостиной две картины – потемневшие портреты родственников, которых дети не знали. Потом куда-то делась серебряная сахарница. Затем перестали накрывать большой стол белой скатертью с вензелями: мать сказала, что она «в стирке», но Иван видел, как её аккуратно складывают в сундук вместе с несколькими другими вещами.

Однажды он заметил, что из библиотеки вынесли старое кресло.

– Его чинить будут? – спросил он.

– Да, – ответила мать.

Но кресло не вернулось.

В доме не произносили слова «продажа» при детях. Вместо него говорили: «отдали», «увезли», «взяли на время», «нашли покупателя». Однако Ваня уже научился слышать разницу между словами и тем, что за ними прячется.

Вещи уходили без шума.

И от этого было особенно странно.

Не было ни пожара, ни кражи, ни злого волшебника из сказки. Просто утром ты видел на полке знакомую вещь, а через неделю на её месте лежала пыль. И никто не объяснял, как можно позволить пустоте занять место того, что было твоим.

В августе пропали два старых подсвечника.

Иван долго искал их по комнатам, заглядывал в кладовую, под столы, за занавески. Наконец мать застала его у буфета.

– Что ты ищешь?

– Подсвечники.

– Зачем?

– Они были красивые.

Она села перед ним на корточки.

– Ванечка, вещи не надо любить слишком сильно.

– Почему?

– Потому что тогда они начинают болеть вместе с нами.

Он нахмурился.

– Они же не живые.

– Нет. Но память – живая.

Он не понял и этого. Ему вообще начинало казаться, что взрослые знают какие-то важные истины, но нарочно объясняют их так, чтобы дети ничего не поняли.

Осенью в Бутырки приехали гости.

Отец пригласил двух соседей-помещиков, хотя мать перед этим сказала, что в доме нет денег на лишние расходы. Алексей Николаевич ответил, что расходы бывают лишними только у людей без воображения.

– Они не чужие, – сказал он. – Люди нашего круга.

– Наш круг теперь больше похож на петлю, – тихо заметила мать.

Но гости всё-таки приехали: один – толстый, с красным лицом и привычкой громко смеяться прежде, чем договорит; другой – седой, сухой, с тонкими руками. Пили чай, потом вино, вспоминали охоты, прежних владельцев, губернские выборы, лошадей, которых уже не было в живых.

– Помните, Алексей Николаевич, вашего Вихря? – спросил краснолицый.

– Ещё бы не помнить. Такой лошади теперь не найдёшь.

– И не купишь, – вставил сухой сосед.

Отец посмотрел на него.

– Деньги – не главное.

– Пока они есть, все так говорят.

Краснолицый поспешно расхохотался, будто разговор шёл о чрезвычайно удачной шутке. Отец налил себе ещё ви-

на.

— Мы, господа, живём в такое время, когда все только и делают, что подсчитывают. Сколько у кого земли, сколько доходу, сколько долгов. А ведь человек не цифра.

— Нет, — согласился сухой сосед. — Человек — это то, что остаётся после цифр.

На этот раз никто не засмеялся.

Иван сидел у двери, делая вид, что читает книгу. Он запомнил лица мужчин в жёлтом свете лампы: отец — красивый, сердитый, с чуть дрожащей рукой; краснолицый сосед — растерянный; сухой — почти безжалостный, хотя, может быть, именно потому и правый.

Тогда Ваня впервые почувствовал к отцу не только любовь и восхищение, но и жалость.

Это было новое, тяжёлое чувство.

Ему не хотелось, чтобы папу было за что жалеть.

Через несколько недель начался сбор яблок.

Сад оживился: женщины ходили с корзинами, дети подбирали паданцы, в сарай таскали ящики. Воздух стоял густой от запаха плодов, сухой травы, земли и дыма. Днём свет был золотистый, а по утрам на траве лежал иней.

Ивану поручили собирать хорошие яблоки в маленькую корзину и не бросать их, как он делал прежде. Работа казалась ему важной. Он ходил от дерева к дереву, выбирая плоды без червоточин и вмятин, складывал осторожно, почти

торжественно.

У дальней яблони он заметил отца.

Алексей Николаевич стоял один, не снимая шляпы, и смотрел на сад. На лице его было такое выражение, будто он видит не яблони, не сарай, не женщин с корзинами, а что-то другое, скрытое за всем этим.

Иван подошёл.

– Папа, смотри, сколько я собрал.

Отец взял одно яблоко, повернул его в пальцах.

– Хорошее.

– Его продадут?

– Часть продадут.

– А часть оставят?

– Оставят.

– Для нас?

– Для нас. Для зимы.

Он помолчал, потом добавил:

– И для памяти.

Иван посмотрел на него.

– Мама тоже так говорит.

– Твоя мама во многом права, – сказал отец. – Только не говори ей, что я это признал. Она станет невыносима.

Мальчик улыбнулся.

Отец вдруг притянул его к себе. От него пахло табаком, холодным воздухом и чем-то ещё – вином ли, усталостью ли. Над ними тихо шуршали листья. Одно яблоко сорвалось с

ветки и глухо ударилось о землю.

– Запоминай, Ваня, – сказал Алексей Николаевич. – Всё запоминай.

– Зачем?

Отец не ответил сразу.

– На всякий случай.

Иван поднял голову. В просветах между ветвями стояло высокое, бледное небо. Он видел сад, старый дом, отцовскую руку на своём плече, корзины с яблоками, жёлтые листья на тёмной земле.

И впервые ему пришло в голову, что всё это может когда-нибудь исчезнуть.

Не сейчас. Не завтра. Быть может, даже не при нём.

Но исчезнуть.

Он крепче сжал ручку корзины.

Глава 3. Елец

В Елец его повезли в конце лета, когда поля уже начали тускнеть, но жара ещё держалась в пыльных дорогах и в нагретых стенах станционных зданий.

Ивану было одиннадцать.

Он считал себя достаточно взрослым, чтобы не плакать при расставании, не спрашивать каждые четверть часа, скоро ли приедут, и не держаться за мать, когда она поправляла ему воротник. Но взрослость, как он успел заметить, была вещью крайне ненадёжной: утром ты мог рассуждать о ней с достоинством, а вечером вдруг почувствовать, что без знакомого скрипа калитки, без яблонь за окном, без материнского голоса дом превращается в нечто незаменимое.

Вещей ему собрали немного. Бельё, две рубахи, тёплое пальто, книги, тетради, чернильница в деревянном футляре, коробочка с перьями. В сундук положили и небольшой образок – мать завернула его в чистый платок и велела не потерять.

– Я не маленький, – сказал Иван.

– Именно поэтому и не теряй.

Отец, стоявший у телеги, усмехнулся.

– Не мучай мальчика наставлениями. В гимназии из него сделают человека.

– А если не сделают? – спросила мать.

– Тогда вернут обратно.

– Как испорченную вещь?

– Как Бунина, – ответил Алексей Николаевич. – Это, между прочим, не всегда одно и то же.

Он был в хорошем настроении, хотя по утрам последних дней раздражался по всякому поводу: то лошадь подали не ту, то ремень на сундуке оказался слаб, то Иван, по его мнению, слишком долго прощался с садом. Но теперь, когда отъезд стал фактом, отец словно решил, что грусть – это роскошь, которой семье не следует потакать.

– Учись, Ваня, – сказал он, подсаживая сына в телегу. – Латынь, французский, география – всё это дело полезное. Только смотри, чтобы из тебя не сделали чиновника.

– А кем мне быть?

Алексей Николаевич подумал.

– Кем хочешь. Но человеком.

Юлий, приехавший проводить брата, тихо сказал:

– Это, пожалуй, самая трудная наука.

Отец покосился на него.

– Вот видишь? Он уже начинает.

Юлий улыбнулся, но ничего не ответил.

Телега тронулась. Мать перекрестила сына. Мария махнула рукой. Отец стоял прямо, без шапки, хотя солнце било ему в лицо. Дом постепенно скрылся за деревьями, потом исчез сад, потом осталась только дорога.

Иван смотрел назад до тех пор, пока поворот не отрезал Бутырки окончательно.

Тогда он отвернулся.

Елец встретил его шумом.

После деревни город казался почти неприлично деятельным. По улицам ехали телеги, пролетки, подводы с товарами; торговцы перекрикивались у лавок; извозчики ругали лошадей; колокольный звон перемешивался со скрипом колёс. Дома стояли теснее, чем в деревне, окна смотрели друг на друга, люди спешили, словно каждому из них было известно нечто важное, о чём Ивану пока не сообщили.

Он приехал с отцом, но уже на следующий день Алексей Николаевич уехал обратно, оставив его на попечении родственников.

Прощание вышло коротким.

– Ну, будь здоров, – сказал отец. – Не позорь фамилию.

– А если я буду плохо учиться?

– Тогда учись хорошо.

– Это не ответ.

– В жизни, брат, редко дают ответы. Обычно дают обстоятельства.

Он обнял сына, крепко, чуть неловко, и пошёл к экипажу.

Иван стоял на тротуаре, пока повозка не скрылась за углом. Потом почувствовал, что рядом с ним никого нет, и впервые по-настоящему испугался.

Гимназия была большим каменным зданием с высокими окнами и длинными коридорами. Внутри пахло известью, мокрыми шинелями, чернилами, пылью и чем-то холодным, что не имело запаха, но ощущалось кожей.

Мальчиков здесь было много. Они ходили в форме, говорили громче, чем следовало, дрались из-за пустяков, знали школьные законы, которых не было ни в одном уставе. Кто с кем сел рядом. Кого надо бояться. Над кем можно смеяться. Кому лучше не отвечать. Как прятать недописанное задание. Где можно обменяться ножиком, маркой, куском сахара или запрещённой книжкой.

Иван вошёл в класс, держа книги обеими руками, и сразу понял, что все видят: он новенький.

– Из деревни? – спросил мальчик с веснушками, сидевший на задней парте.

– Из Бутырок.

– Это где?

– В Елецком уезде.

– Значит, из деревни.

Иван хотел сказать, что Бутырки – не деревня в том смысле, который этот мальчишка имеет в виду; что там есть дом, сад, библиотека, лошади, что его отец дворянин, а предки служили государям, когда у предков этого веснушчатого, вероятно, не было даже приличной фамилии. Но вместо этого он ответил:

– А ты из города?

– Видно же.

– Нет, не видно.

Веснушчатый прищурился.

– Ты, значит, острый?

– Нет. Просто спросил.

Сосед слева, худой мальчик с длинным носом, вдруг фыркнул. Веснушчатый посмотрел на него, потом на Ивана и решил, что драка до урока не стоит того.

– Бунин, что ли?

– Бунин.

– Ну, посмотрим, какой ты Бунин.

Это прозвучало не как угроза, а как обещание, что имя само по себе ничего здесь не значит.

Иван сел.

Ему хотелось, чтобы урок начался немедленно. Когда в классе появлялся учитель, все разговоры обрывались, и мир становился понятнее: есть доска, мел, книга, вопрос, ответ. Даже если ты не знаешь ответа, всё равно известно, что от тебя требуют.

Гораздо хуже было на переменах.

Первый учитель словесности, которого он запомнил, носил фамилию Белозёров.

Это был человек сухой, высокий, с жёлтым лицом и седыми усами. Он произносил слова медленно, словно каждое

из них прежде проходило внутреннюю проверку на благонадёжность. Мальчики боялись его не потому, что он часто кричал – наоборот, Белозёров почти никогда не повышал голоса, – а потому, что умел сделать молчание наказанием.

Если ученик путался, учитель смотрел на него поверх очков и говорил:

– Продолжайте. Я жду, когда мысль найдёт вас.

После этих слов мысль, как правило, не находила никого. В первый же день Белозёров вызвал Ивана к доске.

– Бунин. Скажите, что такое сравнение.

Иван поднялся. Он знал, что такое сравнение. Юлий объяснял ему это дома, приводил примеры, смеялся над тем, как школьные учебники умеют превращать живую речь в строевую команду.

– Это когда один предмет... – начал Иван.

– Не предмет, – перебил Белозёров. – Продолжайте.

– Когда одно явление объясняется через другое, чтобы было понятнее или выразительнее.

Учитель помолчал.

– Пример.

Иван подумал. За окном стоял сентябрьский день. В стекло ударялся жёлтый лист, ветер гнал по двору пыль.

– «Дорога белая, как полотно», – сказал он.

– Это вы сочинили?

– Нет. То есть... сейчас.

– Зачем?

– Вы спросили пример.

По классу прошёл тихий смешок.

Белозёров посмотрел на него так, что Иван мгновенно пожалел о своей прямоте.

– В гимназии, Бунин, не следует отвечать с излишней поспешностью. Поспешность в мысли часто бывает родной сестрой самоуверенности.

– Я не хотел...

– Садитесь. Три.

Три.

Иван сел, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Тройка казалась не просто отметкой. Это был знак, поставленный на нём самом, – на его голосе, на попытке сказать собственными словами.

На перемене худой сосед наклонился к нему.

– Ты не спорь с Белозёровым, – шепнул он. – Он не любит, когда отвечают не по книге.

– А если по книге плохо написано?

Мальчик посмотрел на него с сочувствием.

– Тогда особенно не спорь.

Жил Иван у родственников, в доме, где всё было чисто, чинно и чуждо.

Ему выделили маленькую комнату с железной кроватью, столом, умывальником и окном во двор. Двор был замкнутый, каменный, без травы. По утрам из кухни тянуло жар-

ным луком, вечером хозяин дома кашлял за стеной, а хозяйка говорила прислуге таким голосом, будто каждое поручение было проявлением её нравственного превосходства.

Иван старался не мешать.

Он вставал рано, умывался холодной водой, надевал форму, завтракал быстро. За столом его спрашивали:

– Ну, как гимназия?

– Хорошо.

– Уроки понимаешь?

– Понимаю.

– Не шалишь?

– Нет.

На этом разговор заканчивался.

Иногда хозяйка замечала:

– Главное, Ванечка, не воображай о себе лишнего. В гимназиях нынче столько мальчиков, и все думают, что они особенные.

Он отвечал:

– Я не думаю.

Но именно после таких слов начинал думать: а вдруг всё-таки особенный?

Эта мысль была одновременно сладкой и стыдной. Ему хотелось быть таким, как все, чтобы не ловить на себе насмешливые взгляды, не чувствовать своей неловкости, не отличаться бедной одеждой и деревенскими привычками. Но ещё сильнее ему хотелось, чтобы однажды Белозёров, вес-

нушчатый мальчик, хозяйка дома, весь Елец – все они вдруг поняли, что он не напрасно родился на свет.

Он не знал, как этого добиться.

Пока что он просто писал в тетрадах.

Первые стихи он начал складывать давно, ещё дома, но там они казались чем-то естественным – почти как разговор с садом или с небом. В Ельце стихи стали тайной.

Он писал их вечером, когда дом затихал.

Сначала старательно выводил строки, потом зачеркивал, потому что слова оказывались не такими, как ему хотелось. Одни были слишком красивыми. Другие – слишком простыми. Третьи звучали так, будто их написал не он, а какой-то неизвестный взрослый, который любит говорить возвышенно и не замечает, что за окном скрипит колодец.

Ему хотелось написать про деревню.

Про поле после дождя. Про мать у окна. Про запах яблок в холодном сарае. Про снег, который падает ночью и делает сад другим.

Но стоило ему взяться за перо, как вместо сада появлялись «лазурные дали», «безбрежные небеса» и «томительная грусть». Эти слова он встречал в книгах и журналах, они казались поэтическими, но всякий раз, перечитывая написанное, он испытывал досаду.

В один из вечеров он разорвал листок на мелкие куски и бросил их в печку.

– Что ты там жжёшь? – спросил из-за двери хозяин дома.

– Бумагу.

– Смотри, не спали дом.

Иван хотел ответить, что дом от бумаги не загорится, если в нём всё и так сырое и каменное. Но промолчал.

Потом достал новый лист.

Осень в Ельце была совсем не похожа на осень в Бутырках.

Там осень была широкой: поля, сад, дым за дальними крышами, долгие сумерки, в которых всё становилось больше и тише. Здесь она была зажата между стенами. Листья лежали на булыжнике, дождь стекал по водосточным трубам, лужи отражали окна, телеги проезжали так близко, что из комнаты слышался стук колёс.

Иногда Иван уходил после занятий дальше, чем разрешали.

Он бродил по улицам, заходил к соборам, стоял на мосту, смотрел, как вода несёт жёлтые листья. Город был неудобным, но в нём происходило множество чужих жизней. В окнах горел свет, за занавесками двигались люди, на базаре ругались из-за цены на рыбу, у ворот гимназии мальчишки обсуждали, кого накажут за курение.

Ему нравилось наблюдать.

Он мог по походке определить, кто идёт: чиновник, купец, гимназист, солдат в отпуске, женщина, спешащая до-

мой, или человек, которому некуда спешить. Он прислушивался к голосам, ловил обороты речи, запоминал лица. Иногда ему приходило в голову, что у каждого встречного есть тайна, и если бы он мог спросить, то узнал бы о мире больше, чем из всех учебников.

Но спрашивать он не решался.

Вместо этого он придумывал.

Вот этот толстый купец, наверное, только что получил известие, что его сын проиграл деньги. Вот эта женщина в сером платке идёт к больному ребёнку. Вот этот старик с корзиной возвращается в деревню, где его никто не ждёт.

Придуманные истории жили в нём несколько минут, иногда весь день. Потом исчезали, уступая место другим.

К ноябрю пришли холода.

В классе топили плохо. Утром чернила в чернильницах покрывались тонкой коркой льда, и мальчики, прежде чем писать, грели их ладонями. Белозёров читал лекции о древней словесности, кутаясь в длинный сюртук, и делал вид, что не замечает, как у учеников дрожат пальцы.

На одном из уроков он велел написать сочинение: «Описание зимнего утра».

Класс оживился. Тема казалась лёгкой.

Веснушчатый мальчик сразу закрипел пером. Худой сосед долго смотрел в окно. Кто-то шептал: «Что там писать? Мороз, иней, солнце».

Иван сидел неподвижно.

Перед ним возникло не елецкое утро с каменными крышами и дымными дворами, а Бутырки: синий снег, чёрные ветви, скрип полозьев, мать, которая отдёргивает занавеску, красное солнце в морозном тумане. Он вспомнил, как в конюшне пар идёт от лошадей. Как деревья стреляют ночью. Как на снегу видны следы зайца, и никто не знает, когда он пробежал.

Он писал быстро, забыв о классе.

Когда прозвенел звонок, Белозёров собрал тетради.

Через неделю сочинения вернули.

– Бунин, – сказал учитель. – Оставайтесь после урока.

Сердце у Ивана неприятно провалилось.

Он решил, что сделал что-то не так: слишком много написал, допустил ошибки, употребил запретное слово, позволил себе лишнее. В коридоре мальчики шумно расходились, а он остался стоять у парты.

Белозёров перелистывал тетрадь.

– Вы это сами написали?

– Сам.

– Вам помогали?

– Нет.

– Брат?

– Нет.

Учитель поднял на него глаза.

– Здесь есть ошибки.

Иван молчал.

– И есть лишние слова. Но... – Белозёров снова посмотрел в тетрадь. – Тут есть наблюдение.

Он произнёс последнее слово осторожно, почти недовольно, как будто обнаружил в ученике не достоинство, а странную болезнь.

– Наблюдение, – повторил он. – Это полезнее, чем вы думаете. И опаснее, чем вам кажется.

– Почему опаснее?

Белозёров положил тетрадь на стол.

– Потому что человек, который много замечает, редко бывает доволен тем, что видит.

Иван не знал, что ответить.

– Работайте над языком, Бунин, – сказал учитель уже обычным, сухим тоном. – И не воображайте, что одно удачное сочинение освобождает вас от грамматики.

– Я не воображаю.

– Вот и хорошо. Четыре.

Выйдя из класса, Иван долго стоял в пустом коридоре.

Четыре была не бог весть какая отметка. Но она светилась в его душе ярче любой пятёрки. Потому что Белозёров увидел не только ошибки. Он увидел то, что Иван сам ещё не умел назвать.

Наблюдение.

Письма из дома приходили нерегулярно.

Мать писала мелким ровным почерком. Она спрашивала о здоровье, напоминала надевать шарф, просила не тратить деньги на пустяки, рассказывала о саде, о брате, о соседях, о том, что одна из яблонь зимой сломалась под снегом.

«Папа ездил в город, – сообщала она в одном письме, – вернулся усталый, но говорит, что всё уладится. Ты не тревожься и учись».

Иван читал эти строки много раз.

Ему было ясно: если мама пишет «не тревожься», значит, тревожиться есть о чём.

Отец писал редко. Его письма были короткими, неровными, порой начинались с разговора об охоте или погоде и заканчивались неожиданным наставлением.

«Учись французскому, – писал он. – Французы народ неприятный, но язык у них полезный».

В другом письме: «Не позволяй обижать себя. Но и сам первым не лезь: это всегда выглядит глупо».

Ещё позже: «Мать пишет, что ты хорошо сочиняешь. Это хорошо. Только помни: хлеб за стихи дают не всегда».

Иван спрятал это письмо между страницами учебника.

Он не знал, станет ли писать стихи всю жизнь. Но сама мысль, что отец знает о его сочинениях, была важна. Отец не сказал, что гордится им. Алексей Николаевич вообще редко произносил такие слова. Зато он не посмеялся.

Это уже было почти одобрением.

К Рождеству он приехал домой.

Дорога в Бутырки показалась короче, чем в августе. Или, может быть, он всю дорогу так нетерпеливо ждал, что расстояние уступило его желанию. Когда телега свернула к знакомому саду, Иван увидел дом – тот же, но вдруг ставший меньше, чем в памяти.

Он испугался этой перемены.

Как мог дом стать меньше, если он оставался тем же самым?

Мать выбежала на крыльцо, не дожидаясь, пока он войдёт. Она обняла его, прижала к себе, потом отстранила и внимательно осмотрела.

– Вытянулся.

– Нет.

– Вытянулся. И похудел.

– В гимназии все худеют.

– Почему?

– Там еда такая.

– Какая?

Он подумал.

– Гимназическая.

Мать рассмеялась, и от этого смеха у него вдруг перехватило горло.

В доме пахло так, как пахнет только дом: печным теплом, пирогами, воском, старыми книгами, сухими травами. Всё было знакомо – и всё немного изменилось. В гостиной не

хватало одного кресла. На стене оставался светлый прямоугольник от снятой картины. Буфет выглядел более пустым.

Но сад был на месте.

Заснеженный, тихий, с чёрными ветвями и глубокими су-
гробами у забора.

Вечером Иван вышел на крыльцо. Мороз был крепкий. Над садом стояло ясное небо, усеянное звёздами. Где-то далеко лаяла собака. Из дома доносились голоса: отец рассказывал что-то Юлию, мать звала прислугу, звенела посуда.

Он вдруг почувствовал себя одновременно счастливым и чужим.

Будто за несколько месяцев в Ельце он успел узнать: у дома есть жизнь без него. И у него – жизнь, в которую дом не может войти целиком.

Юлий вышел на крыльцо, накинув пальто поверх домашней рубахи.

– Замёрзнешь.

– Нет.

– Все мальчишки твоего возраста думают, что «нет» – самый мужественный ответ.

Иван промолчал.

Юлий стал рядом.

– Ну? Как тебе гимназия?

– Там плохо.

– Почему?

– Там всё не так.

– Как – не так?

Иван посмотрел на сад.

– Там люди не видят.

Юлий повернулся к нему.

– Чего не видят?

– Ничего. Деревьев. Снега. Когда кто-то говорит неправду. Когда человеку плохо.

Юлий долго молчал. Потом тихо сказал:

– Видеть – хорошо. Но ты не думай, что от этого легче жить.

– А зачем тогда видеть?

– Не знаю.

Это был честный ответ. Иван почувствовал к брату благодарность.

Они постояли ещё немного. Над снегом поднимался слабый блеск, и сад казался не чёрно-белым, а голубым, серебряным, бесконечным.

– Ты пишешь? – спросил Юлий.

– Иногда.

– Покажешь?

– Нет.

– Правильно, – сказал Юлий. – Пока не хочешь – не показывай. Сначала сам пойми, что именно ты пытаешься сказать.

– А если я не понимаю?

– Тогда пиши до тех пор, пока не поймёшь.

Из дома донёлся голос отца:

– Юлий! Ты там брата воспитываешь или морозишь?

– И то и другое! – крикнул Юлий.

– Тогда хоть дверь закройте, философы!

Братья вошли в дом, не сговариваясь.

Иван оглянулся на сад в последний раз.

Он ещё не знал, сколько раз будет уезжать и возвращаться.

Не знал, что однажды окажется от этой земли дальше, чем может вообразить ребёнок. Не знал, что будет писать о ней так, будто каждое слово – попытка вернуть её из небытия.

Пока он просто шёл за братом по тёплому коридору, слышал голоса семьи и чувствовал, как в кармане пальто шуршит сложенный листок.

На нём было несколько неловких строк о зимнем утре.

Он никому их не покажет.

Не сейчас.

Глава 4. Брат Юлий

Весной Иван не вернулся в гимназию.

Сначала это выглядело как временная отсрочка. В доме говорили, что надо переждать, поправить здоровье, решить денежные дела, написать кому следует, узнать, нельзя ли устроить всё без лишнего шума. Мать, когда спрашивали прямо, отвечала:

– Пока Ваня побудет дома.

Слово «пока» было удобным словом. Оно ничего не обещало и не требовало признать поражение.

Сам Иван в первые дни чувствовал облегчение. Не нужно было вставать в темноте, торопливо застёгивать мундир, идти по холодным коридорам, ждать, когда Белозёров вызовет к доске и посмотрит так, будто перед ним не мальчик, а плохо выполненное задание. Не нужно было жить в чужом доме, слушать, как по вечерам за стеной кашляет хозяин, и видеть во сне сад.

Он просыпался в Бутырках от света, от петухов, от голосов во дворе. За окном стояли яблони, ещё голые, но уже живые: на ветвях темнели почки, земля под ними оттаивала полосами. В доме топили печи не так жарко, как зимой, двери чаще оставляли открытыми, и по коридорам гулял весенний воздух.

Казалось, будто всё вернулось на своё место.

Но однажды за завтраком отец сказал:

– Что ж, Ваня, отдохнул? Скоро надо будет решать.

Иван поднял голову.

– Что решать?

– Гимназию. Не можешь же ты вечно жить без образования.

– Почему не могу?

Мать положила ложку.

– Не говори глупостей.

– Я не говорю глупостей. Я спрашиваю.

Алексей Николаевич откинулся на спинку стула.

– Потому что в жизни человеку нужны бумаги.

– Какие бумаги?

– Аттестаты, свидетельства, дипломы. Всё то, чем люди доказывают другим людям, что имеют право занимать место за столом.

– А если я не хочу занимать место за их столом?

Отец усмехнулся.

– Тогда тебе придётся построить свой. Но это, брат, выходит дороже.

Юлий, сидевший у окна с газетой, опустил её.

– Не обязательно возвращать его туда, где учение стало для него только мучением, – сказал он.

Отец повернулся к старшему сыну.

– Конечно. У тебя на всё есть теория.

– Это не теория. Мальчик способен учиться. Вопрос в том, чему и как.

– Гимназия, между прочим, придумана не дураками.

– Её устройство – не заповедь.

– А что заповедь? Делать всё по-своему?

Юлий спокойно сложил газету.

– Иногда – да.

Алексей Николаевич посмотрел на него пристально. В такие минуты между ними возникало что-то большее, чем обычный семейный спор. Отец видел в Юлии не только сына, но и человека другого времени – умнее, строже, менее готового прощать ему легкомыслие. Юлий видел в отце человека, которого любил, но чью беспечность не мог перестать считать виной.

Иван замер, боясь, что разговор сейчас сделается громким.

Но мать сказала:

– Довольно. Пусть сначала доест.

Отец встал.

– Пусть читает свои книги, – бросил он. – Только не удивляйтесь потом, если вместо человека из него выйдет литератор.

Он произнёс это как шутку. Но Иван заметил: Юлий улыбнулся, а мать почему-то перекрестилась.

Юлий занялся его образованием без всяких торжествен-

ных объявлений.

На следующий день после завтрака он постучал в комнату Ивана и вошёл с несколькими книгами под мышкой.

– Одевайся.

– Куда?

– На урок.

– Но урока нет.

– Теперь есть.

Они устроились в маленькой комнате рядом с библиотекой. Там стоял длинный стол, покрытый зелёным сукном, книжный шкаф с покосившимися полками, глобус, давно потерявший блеск, и старое кресло, из которого при каждом движении вылезал конский волос.

Юлий положил на стол учебники.

– Начнём с того, что ты умеешь.

– Я умею читать.

– Это не то же самое, что понимать прочитанное.

– Я понимаю.

– Вот и посмотрим.

Первым делом он дал Ивану страницу из истории.

– Прочти.

Иван прочёл.

– Теперь скажи, что ты узнал.

– Что был такой-то государь, воевал с такими-то, потом заключили мир.

– Это написано. А что ты понял?

Иван нахмурился.

– Что государь хотел победить.

– Все государи хотят победить. Зачем?

– Чтобы земля была больше.

– Земля для чего?

– Для людей.

– Каких людей?

Иван раздражённо отодвинул книгу.

– Ты нарочно спрашиваешь так, чтобы нельзя было ответить.

– Нет. Я спрашиваю так, чтобы ты не повторял чужие слова.

– А если я не знаю?

– Тогда говори: «Не знаю». Это лучше, чем говорить то, чего не думаешь.

Иван посмотрел на брата. Юлий не улыбался. Его худое лицо было серьёзно, но без суровости.

– Хорошо, – сказал Иван. – Я не знаю.

– Вот. С этого и начинается учение.

Учиться с Юлием оказалось труднее, чем в гимназии.

Там можно было выучить правило, пересказать главу, запомнить даты и получить отметку. Здесь не было отметок. Зато брат замечал всё: когда Иван ленился, когда отвечал наугад, когда пытался украсить незнание красивой фразой.

– Не спеши говорить, – повторял он. – Сначала посмотри,

что у тебя в голове.

– Я смотрю.

– Плохо смотришь.

– А ты всё время недоволен.

– Я не доволен. Я не хочу, чтобы ты привык к лёгким ответам.

Иногда Иван злился до слёз.

Особенно на математике. Цифры казались ему безжалостными. В них нельзя было спрятаться за настроение, нельзя было сказать, что задача навеяла грусть или что ответ зависит от погоды. Либо ты получил нужный результат, либо нет.

– Зачем мне это? – спросил он однажды, бросив карандаш. – Я не хочу быть купцом.

– Математика нужна не купцам.

– А кому?

– Всем, кто хочет не давать себя обманывать.

– Разве цифры обманывают?

– Цифры – редко. Люди – постоянно. Особенно когда говорят цифрами.

Иван помолчал.

– Ты всё думаешь, что люди плохие.

– Нет, – тихо ответил Юлий. – Я думаю, что люди способны быть лучше, чем им удобно.

Это было сказано без злости, почти устало. Иван вдруг заметил, что брат выглядит старше своих лет. Не просто потому, что носит бородку и серьёзные воротнички, а потому, что

постоянно спорит с чем-то невидимым: с порядком вещей, с человеческой трусостью, с неправдой, которой все привыкли пользоваться.

В тот день он всё-таки решил задачу.

Юлий проверил, кивнул и сказал:

– Видишь? Не умер.

– Я и не думал умирать.

– Это потому, что ты ещё не дошёл до дробей.

Самым счастливым временем были занятия литературой.

Юлий приносил книги и не заставлял читать их «по программе». Они читали Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого. Читали вслух, останавливались, спорили. Иногда Иван не понимал, почему какая-нибудь короткая фраза заставляет брата замолчать, пройти по комнате, закутить у окна.

– Тут же ничего особенного не сказано, – замечал он.

– В этом и дело.

– В чём?

– В том, что сказано ровно столько, сколько нужно.

Иван перечитывал строку.

– А почему нельзя сказать больше?

– Можно. Но чаще всего люди говорят больше, потому что не знают, что именно хотят сказать.

Эта мысль сначала показалась ему несправедливой. Он любил длинные рассказы, громкие слова, истории, в которых

герой страдает, бросается в снег, уезжает, умирает, возвращается неузнанным. Ему нравилось, когда в стихах были бури, бездны, страсти и роковые тайны.

Юлий терпеливо слушал его восторги.

— Это всё может быть, — говорил он. — Только жизнь обычно страшнее и интереснее там, где человек просто вошёл в комнату, сел, не сказал того, что хотел сказать, и ушёл.

— Это скучно.

— Пока не научишься видеть.

Иван сердился.

Ему всё время говорили: «Смотри», «замечай», «думай». Словно этого недостаточно — жить, читать, мечтать, любить сад, ненавидеть Елец, писать стихи в тетради.

Но постепенно он начал понимать, чего хочет от него брат.

Однажды Юлий открыл том Тургенева и прочёл несколько страниц о летнем вечере. Потом закрыл книгу.

— Ну?

— Хорошо.

— Это не ответ.

— Красиво.

— Тоже не ответ.

— А какой нужен?

— Твой.

Иван посмотрел в окно. За стеклом шёл дождь. По дорожке бежали ручьи, у сарая стояла мокрая лошадь, понутив голову. В дальнем конце сада ветер качал ветви.

– Там всё как будто настоящее, – сказал он наконец. – Но не просто настоящее. Будто ты уже видел это раньше и забыл, а тебе напомнили.

Юлий ничего не сказал сразу.

Потом очень тихо произнёс:

– Вот теперь ты ответил.

Летом они часто уходили далеко от дома.

Юлий брал с собой книгу, блокнот, иногда газету. Иван – ножик, хлеб, яблоко или карандаш. Они шли по дороге, мимо полей, оврагов, редких деревень. Иногда говорили, иногда молчали долго.

Юлий не любил пустой болтовни. Но молчание рядом с ним не было тяжёлым.

Однажды они остановились у крестьянской избы. Перед ней сидел старик в рваной рубахе и чинил деревянное колесо. Двое маленьких детей возились в пыли. Из дома доносился кашель женщины.

Старик поднял глаза на проходивших господских сыновей, кивнул.

– Здорово, дед, – сказал Юлий.

– Здорово, барин.

– Как живёте?

Старик усмехнулся без веселья.

– Как все: не померли – и ладно.

Юлий задержался, спросил о посевах, о податях, о том,

хватает ли хлеба. Старик отвечал неохотно, но постепенно разговорился. Говорил о земле, которую надо бы обрабатывать, да лошадь пала, о сыне, которого забрали в солдаты, о дочери, ушедшей в город служить, о чиновнике, который приезжал и что-то записывал, но легче от его записей не стало.

Иван слушал, не понимая многого.

Ему казалось, что деревня – это сад, поля, запах сена, песни по вечерам, лица работников, которых он видел у них в доме. Но слова старика открывали другую деревню: тяжёлую, тёмную, голодную, полную унижения и терпения.

Когда они отошли, Иван спросил:

– Зачем ты с ним говорил?

– Потому что он человек.

– Я знаю.

– Нет, ты пока только знаешь слова.

Иван обиделся.

– А что я должен сделать?

Юлий посмотрел на него.

– Ничего не должен делать немедленно. Просто не привыкай думать, что мир устроен так, как виден из нашего сада.

Они пошли дальше.

Через некоторое время Иван спросил:

– А мы виноваты, что у нас есть сад, а у него нет?

Юлий остановился.

– Виноваты – слово слишком простое. Но мы отвечаем за

то, что видим.

– Как отвечаем?

– Каждый по своим силам. Один – делом. Другой – словом. Третий хотя бы тем, что не врёт себе.

Иван молчал.

Ему хотелось спросить, чем именно занимается Юлий и почему его иногда называют человеком неблагонадёжным, но он не решился. В доме об этом говорили осторожно. Отец сердился, мать тревожилась. В письмах и приездах знакомых появлялись намёки: «неосторожность», «увлечения», «надо думать о будущем».

Юлий, казалось, не боялся будущего.

Или боялся, но считал, что страх – не причина молчать.

Однажды вечером к ним приехал знакомый отца – помещик из соседнего уезда, господин Сомов. Он был невысок, круглолиц, носил золотой перстень и умел говорить о серьёзных вещах так, словно они предназначены исключительно для того, чтобы развлечь его после ужина.

За столом он расспросил Юлия, чем тот теперь занимается.

– Читаю, думаю, пишу, – ответил Юлий.

– Ах, прекрасно. Молодость должна иметь свои невинные пороки.

– А у старости, стало быть, пороки уже не невинные?

Сомов засмеялся.

– Острый язык. Весь в отца. Алексей Николаевич, берегите сына, он вас ещё в люди выведет.

Отец улыбнулся, но напряжённо.

– Юлий сам себя выводит.

– Это верно, – сказал гость. – Слыхал, у него знакомства с какими-то... как бы сказать... людьми новых взглядов?

Людмила Александровна замерла.

– У всех есть взгляды, – ответил Юлий. – Даже у тех, кто считает это неприличным.

– Ну, конечно, конечно. Только нынче со взглядами надо осторожнее. Особенно с теми, которые хотят перевернуть Россию.

– Россию нельзя перевернуть, – сказал Юлий. – Она слишком тяжёлая.

Сомов снова засмеялся, но теперь уже не так уверенно.

– А вот раскачать можно.

– Её давно раскачивают. Просто не все это замечают из своих гостиных.

Отец поставил бокал на стол.

– Довольно, Юлий.

– Я только отвечаю.

– Не всякий вопрос требует ответа.

– А если требует?

– В моём доме – не требует.

Повисла тишина.

Иван видел, как брат сжал губы. Потом Юлий встал.

– Простите, – сказал он матери. – У меня дела.

Он вышел.

Сомов покрутил перстень на пальце.

– Умный молодой человек, – заметил он. – Только нервный.

– Он не нервный, – неожиданно сказал Иван.

Все посмотрели на него.

Он покраснел, но продолжил:

– Он просто не любит, когда неправду говорят.

Сомов приподнял брови.

– Вот как. И ты туда же?

– Ваня, – строго сказала мать.

Отец ничего не сказал. Только посмотрел на сына долгим взглядом – не сердитым, но таким, от которого Ивану стало не по себе.

Позже, когда гости уехали, Алексей Николаевич позвал его в кабинет.

– Ты зачем вмешался?

– Потому что он сказал про Юлия.

– А Юлий умеет сам за себя постоять.

– Я знаю.

– Тогда зачем?

Иван опустил глаза.

– Мне не понравилось.

Отец сел за стол. В комнате пахло табаком и кожей переплётков.

– Не всё, что не нравится, надо немедленно исправлять, – сказал он. – Запомни это.

– А если неправда?

– Неправда бывает разная.

– Какая?

– Такая, с которой лучше не связываться.

Иван поднял голову.

– А Юлий связывается.

Отец устало потёр лоб.

– Юлий... – Он не закончил. – Твой брат хороший человек. Очень хороший. Только он думает, что человеку достаточно быть правым. А жизнь устроена сложнее.

– Значит, надо быть неправым?

– Значит, надо знать цену словам.

Иван хотел спросить, знает ли отец цену своим словам – тем, что он говорил о чести, земле, роде, долгах, будущем. Но не спросил.

Он уже начал понимать: взрослые не любят, когда дети замечают противоречия. Особенно если эти противоречия нельзя объяснить одной фразой.

В середине лета Юлий уехал.

Ему нужно было в город – «по делам», как сказала мать. Отец весь день ходил мрачный, потом куда-то отправился верхом. За обедом никто почти не разговаривал.

Иван подошёл к брату, когда тот укладывал книги в до-

рожный сундук.

– Ты надолго?

– Не знаю.

– Ты вернёшься?

Юлий посмотрел на него внимательно.

– Надеюсь.

– Почему ты всё время говоришь «не знаю» и «надеюсь»?

– Потому что это честнее, чем обещать то, на что не можешь повлиять.

– А ты не можешь?

– Не всегда.

Иван сел на край кровати.

– Мне без тебя будет скучно.

– Это не худшее, что может случиться с человеком.

– А что худшее?

Юлий задумался.

– Привыкнуть, что думать не нужно.

Иван помолчал.

– Ты опять будешь говорить со своими людьми новых взглядов?

Брат усмехнулся.

– Наверное.

– А они хорошие?

– Среди них есть разные.

– А они хотят перевернуть Россию?

– Они хотят, чтобы в России было меньше несправедли-

ВОСТИ.

– А если станет хуже?

Юлий застегнул ремень на сундуке.

– Тогда будет нужно думать ещё честнее.

Этот ответ не удовлетворил Ивана. Но он уже знал: если Юлий не отвечает проще, значит, простого ответа нет.

Перед отъездом брат дал ему тонкую тетрадь в серой обложке.

– Это тебе.

– Что там?

– Пустые листы.

– Зачем?

– Пиши.

– Стихи?

– Что хочешь. Только не пиши того, чего не видел, не чувствовал и не понял.

– А если я хочу написать про море? Я его не видел.

– Тогда сначала признайся себе, что не видел моря. И не заставляй его быть похожим на лужу возле нашего сарая.

Иван рассмеялся.

– Я так не сделаю.

– Все сначала так делают.

Он положил руку брату на плечо.

– И ещё одно. Не старайся казаться умнее. Старайся быть точнее.

– А если точность скучная?

– Значит, ты ещё не нашёл, что именно в ней живое.

После отъезда Юлия дом сделался тише.

Уроки продолжались: Иван читал сам, решал задачи, переписывал слова на французском, разбирал историю. Но без брата всё это легко превращалось в обязанность. Он ловил себя на том, что смотрит в окно, бросает книгу, уходит в сад.

Однажды он обнаружил в дальнем конце участка старую беседку, почти скрытую кустами. Крыша у неё прохудилась, скамья внутри сгнила, но через щели проникал свет, и было видно, как по пыли ползают маленькие жуки.

Иван принёс туда тетрадь.

Он долго сидел, ничего не записывая. Сад шумел вокруг. Где-то стучал топор. Издалека доносился женский голос – кто-то звал ребёнка. В воздухе пахло травой, нагретой корой и молодыми яблоками.

Он вспомнил старика у избы. Слова отца о том, что человек может потерять дом и землю. Юлиеву фразу: «Не ври себе».

Потом открыл тетрадь.

Сначала написал несколько строк о лете. Они получились плохими. Он это почувствовал сразу: в них были и «золотые лучи», и «сладостная даль», и «певучая тоска». Он хотел вырвать страницу, но остановился.

«Не пиши того, чего не видел».

Он зачеркнул почти всё.

И попробовал снова.

Теперь он написал о старом саде, где одна яблоня засохла, но на другой висит зелёное яблоко, слишком раннее и твёрдое. О том, как за стеной дома спорят взрослые и вдруг умолкают, когда входит ребёнок. О дороге после дождя, в которой отражается белое облако.

Строки всё равно были неловкими.

Но они были его.

Когда мать позвала к ужину, он закрыл тетрадь и спрятал её под рубаху.

За столом отец рассказывал, что видел в городе человека, который обещал помочь с каким-то делом. Мать слушала, не перебивая. Мария жаловалась на головную боль. На окне дрожал вечерний свет.

Иван ел молча.

Ему казалось, что внутри у него появилось нечто маленькое, упрямое, пока ещё без имени. Оно не было ни счастьем, ни уверенностью. Скорее – обязанностью.

Словно кто-то сказал ему: смотри внимательнее. Запоминай. Не торопись с выводами. И если однажды заговоришь – постарайся не солгать.

Глава 5. Первое напечатанное слово

Весна 1887 года была затяжной.

Снег сошёл давно, но тепло не приходило. Земля в саду оставалась холодной, тяжёлой, по утрам трава серебрилась инеем, а к полудню небо затягивалось низкими облаками. Казалось, сама природа передумала переходить в новое время года и теперь медлила, проверяя, достаточно ли люди готовы к перемене.

Ивану было шестнадцать.

Он уже не походил на мальчика, которого отправляли в Елец с маленьким сундуком и материнским образком. Вытянулся, стал угловатым, слишком худым для своего роста; на лице то появлялось почти взрослое выражение, то вдруг проступала детская обида. Он говорил мало, но если уж начинал спорить – особенно с Юлием, когда тот бывал дома, – мог не уступать с упрямством, которое отец называл бунинским, а мать – опасным.

Учебники теперь лежали на столе вперемишку с книгами стихов, газетами, тетрадями и листками, исписанными с обеих сторон. Иван писал всё чаще.

Поначалу никто не воспринимал это как занятие серьёз-

ное.

Отец, заметив однажды, что сын сидит над тетрадью с таким видом, будто от его решения зависит судьба империи, спросил:

– Опять сочиняешь?

– Пишу.

– Это одно и то же.

– Нет.

– А в чём разница?

Иван поднял глаза.

– Сочиняют то, чего нет. А пишут то, что есть.

Алексей Николаевич прищурился, усмехнулся.

– Смотри-ка. Значит, ты у нас уже философ.

– Я не философ.

– Тем хуже. Философ хотя бы знает, что говорит непонятно.

Иван хотел ответить резко, но мать, сидевшая у окна с шитьём, сказала:

– Не мешай ему, Алексей.

– Я не мешаю. Я интересуюсь. Может, он про меня пишет?

– Нет, – слишком поспешно ответил Иван.

Отец расхохотался.

– Вот и отлично. Значит, ещё не испорчен.

Он действительно писал об отце – только не прямо.

В тетрадях появлялись люди, похожие на него походкой,

привычкой громко смеяться, любовью к лошадям и неспособностью вовремя остановиться. Но эти люди всегда выходили хуже живого Алексея Николаевича: чересчур грубые, чересчур беспечные, слишком очевидно виноватые.

Ивану не нравилось это.

В жизни отец мог утром сорваться на прислугу, днём продать что-то необходимое, вечером говорить о чести рода, а ночью тихо зайти в детскую, поправить на сыне одеяло и постоять несколько секунд так, словно хотел сказать нечто важное, но не умел.

Как написать такого человека?

Как объяснить, что любить можно не вопреки недостаткам, а вместе с ними – и от этого любовь становится не легче, а тяжелее?

Он ещё не знал.

Пока что ему удавались пейзажи.

Он описывал дорогу за Бутырками, поле после грозы, заросшую речку, старую яблоню. Но и здесь он был собой недоволен. В его строках природа то и дело превращалась в нарядную барышню: небеса «улыбались», ручьи «пели», ветер «шептал тайны». Прочитав написанное наутро, Иван морщился.

– Что за глупость, – бормотал он и перечёркивал половину.

Однажды Юлий, приехавший на несколько дней, застал его за этим занятием.

– Дай посмотреть.

– Нет.

– Почему?

– Плохо.

– Тем более дай.

– Зачем тебе плохое?

Юлий сел напротив.

– Затем, что хорошее обычно вырастает из плохого. А если плохое прятать, оно не знает, куда ему расти.

Иван нехотя протянул тетрадь.

Юлий прочёл молча. Не улыбался, не хмурился. Лишь в одном месте остановился и провёл пальцем по строчке.

– Вот это оставь.

– Почему?

– Потому что здесь ты видел.

Иван наклонился. Строка была простая: о вороне, сидящем на голом дереве над весенней дорогой.

– Но это же совсем мало.

– Мало – не беда. Беда, когда много и пусто.

– А остальное?

Юлий закрыл тетрадь.

– Остальное пока слишком хочет быть стихами.

Иван вспыхнул.

– А что, стихи не должны быть стихами?

– Должны. Но не должны об этом кричать.

Он вернул тетрадь.

– Ты всё время хочешь сказать читателю: «Посмотри, как я чувствую». А надо, чтобы он почувствовал сам.

– И как это сделать?

– Не знаю. Пиши.

Это «не знаю» уже не раздражало Ивана так, как раньше. Он начинал понимать: самые важные вещи нельзя получить в виде готового правила. Можно только снова и снова пробовать, ошибаться, выбрасывать, начинать сначала.

В конце мая пришло известие о смерти Семёна Надсона.

В доме о поэте говорили не так, как говорили о родственниках, соседях или царских чиновниках. Имя Надсона звучало в разговорах молодых людей, в газетах, в письмах; его стихи переписывали от руки, читали друг другу, спорили о них. Для Ивана Надсон был почти современником, старшим братом по несчастью и поэзии – человеком, который успел стать известным и умер слишком рано.

Он прочёл о смерти в газете.

Новость была напечатана мелким шрифтом, между сообщением о железнодорожном происшествии и заметкой о губернской ярмарке. Иван долго смотрел на несколько сухих строк, потом ушёл к себе.

Ему было стыдно за силу собственного волнения. Он не знал Надсона, никогда его не видел. Но смерть поэта казалась чем-то личным – словно умер человек, который мог бы подтвердить: да, стихи не пустая забава; да, юноша из про-

винции имеет право страдать от слов, которые ещё не научился складывать правильно.

Всю ночь Иван писал.

Утром на столе лежало стихотворение – о могиле Надсона, о ранней смерти, о поэте, которому не дали договорить. Он перечитал его несколько раз и впервые не разорвал лист сразу.

Стихи были ещё неумелыми. В них было слишком много печали, слишком много возвышенных слов, слишком заметно желание говорить от имени всех молодых людей, которые когда-либо чувствовали себя одинокими. Но в них было и настоящее потрясение.

Иван переписал стихотворение набело.

Потом ещё раз.

И ещё раз, исправляя одну строчку, меняя другое слово, мучительно выбирая, где поставить запятую.

К вечеру он принёс лист Юлию.

– Вот.

Брат прочёл.

– Хочешь послать?

– Куда?

– В журнал. Или газету.

Иван сразу пожалел, что показал.

– Кто это напечатает?

– Не знаю.

– Ты опять...

– А ты чего ждёшь? Что я назову редактора, который сидит у окна и думает: «Где же стихи Ивана Бунина?» Таких редакторов, боюсь, пока нет.

– Значит, глупо посылать.

– Глупо – не посылать только потому, что страшно.

Иван взял лист обратно.

– А если будут смеяться?

Юлий посмотрел на него без привычной иронии.

– Будут. Иногда. И не только сейчас. Если хочешь писать, тебе придётся это пережить.

– А если они скажут, что я бездарен?

– Тогда придётся выяснять, правы ли они.

– Ты говоришь так, будто это легко.

– Нет. Я говорю так, будто другого пути нет.

Письмо в Петербург он отправлял сам.

На конверте неровным почерком вывел адрес редакции еженедельной газеты «Родина». Внутри лежали стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» и короткая записка: автор просит редакцию рассмотреть приложенные стихи.

Подписать полным именем он сначала не решался.

«И. Бунин» выглядело скромнее. Но одновременно – значительнее. Не мальчик Ваня, не сын Алексея Николаевича, не младший брат Юлия. Просто человек с фамилией, которая могла появиться в печати.

Он стоял у почтового окошка, сжимая конверт.

Почтовый чиновник, усталый человек с усами, взял его двумя пальцами и спросил:

– Простое?

– Да.

– В Петербург?

– Да.

– Деньги.

Иван заплатил. Чиновник бросил письмо в деревянный ящик за собой, где оно исчезло среди других конвертов – деловых, любовных, жалобных, официальных, наверняка гораздо более нужных.

На улице Иван остановился.

Ему вдруг стало так пусто, словно он только что отдал незнакомцу не лист бумаги, а часть самого себя.

Он прошёл несколько шагов, потом вернулся к почтамту.

Ему хотелось попросить письмо обратно.

Но за окошком уже стоял другой человек, с пакетом, перевязанным бечёвкой. Чиновник смотрел мимо Ивана, ожидая следующего посетителя.

Иван развернулся и пошёл прочь.

Ответа не было долго.

Сначала он ждал каждый день. Потом – через день, чтобы не выглядеть в собственных глазах слишком нетерпеливым. Потом убеждал себя, что вовсе не ждёт. Потом перестал спрашивать у почтальона, потому что тот однажды сказал:

– Вам, молодой человек, если письмо будет, его принесут. От того, что вы меня взглядом прожжёте, почта быстрее не поскачет.

Лето вступило в силу. В саду налились яблоки. Отец ездил по делам, возвращался мрачный, снова уезжал. Мать хлопотала по хозяйству, Мария читала романы, Юлий собирался в город.

Иван писал новые стихи и всё чаще чувствовал, что прежнее стихотворение о Надсоне ему не нравится.

Он начал замечать в нём то, чего не замечал ночью, когда писал: готовые интонации, привычную скорбь, слова, которые будто уже были сказаны кем-то другим. Ему хотелось переписать всё заново.

Но письмо было уже в Петербурге. Или лежало где-то на столе у редактора. Или валялось в корзине. Или, может быть, его вообще не получили.

Однажды утром мать вошла в его комнату с газетой в руках.

– Это тебе.

Иван не сразу понял.

Газета была сложена. На первой странице – новости, объявления, какие-то рисунки. Мать держала её так спокойно, что он подумал: наверное, Юлий прислал что-нибудь интересное.

– Что там?

– Посмотри.

Он взял газету.

На одной из внутренних страниц, среди стихов и заметок, он увидел заголовок:

«Над могилой С. Я. Надсона».

Ниже шли его строки.

А под ними было напечатано:

И. Бунин.

Он сел.

Газета дрожала в руках.

– Это правда? – спросил он.

Мать улыбнулась.

– По-видимому.

– Но... они напечатали.

– Напечатали.

– Моё.

– Твоё.

Он снова посмотрел на страницу. Буквы были чёрные, ровные, одинаковые, не похожие на его нервный почерк. Стихотворение уже не принадлежало тетради, столу, его комнате. Оно существовало в мире, среди чужих глаз, чужих мыслей, чужих оценок.

Это было почти страшно.

Отец вошёл позже, уже к завтраку. Мать молча положила перед ним газету, раскрытую на нужной странице.

Алексей Николаевич прочёл название, потом стихи. Иван стоял у окна и не смотрел на него.

– Ну что ж, – сказал отец наконец. – Напечатали.

– Да, – ответил Иван.

– Грамотно?

– Наверное.

– Это уже хорошо. Обычно печатают много такого, за что гимназический учитель поставил бы двойку.

Мать строго посмотрела на мужа.

– Что? Я хвалю. По-своему.

Он снова пробежал глазами строки, потом посмотрел на сына.

– Слушай, Ваня. Это приятно. И мать, конечно, будет хранить этот номер до Страшного суда. Но ты не зазнавайся.

– Я не зазнаюсь.

– Все так говорят в первый день. А на второй уже ждут, что им будут подавать чай с поклоном.

– Папа.

– Ладно, ладно. Молодец.

Это было сказано быстро, почти небрежно. Но Иван почувствовал, как внутри него что-то распрямилось.

Юлий, узнав о публикации, долго держал газету в руках.

– Поздравляю, – сказал он.

– Тебе нравится?

Юлий не стал отвечать сразу.

– Ты хочешь честно?

Иван кивнул, хотя уже пожалел.

– Стихотворение не лучшее из того, что ты напишешь.

– Значит, плохое?

– Нет. Оно настоящее в одном важном смысле: ты не испугался послать его.

Иван молчал.

– А теперь, – продолжил Юлий, – тебе придётся учиться ещё больше. Первая публикация – опасная вещь.

– Почему?

– Потому что можно решить, будто ты уже писатель.

– А я не писатель?

– Пока ты человек, который написал и напечатал стихотворение. Это хороший первый шаг. Но не путай шаг с дорогой.

Иван взял газету.

Ему хотелось обидеться. Хотелось сказать, что Юлий заводит, что он всегда умеет испортить радость. Но он посмотрел на напечатанное имя и вдруг понял: брат прав.

Публикация не сделала его тем, кем он хотел стать.

Она сделала другое – не позволила ему вернуться к прежнему незнанию.

Теперь он уже знал, что слова могут выйти за пределы комнаты.

И что за ними придут последствия.

Вечером пришёл сосед, отставной капитан Мельников, человек добродушный, но склонный считать любое умственное занятие болезнью, если оно не приносит дохода.

Мать, не удержавшись, показала ему газету.

– Стихи? – переспросил он, надевая очки. – Ивана Алексеевича? Ну, ну.

Прочёл медленно, шевеля губами.

– Печально, – сказал он. – Молодым нынче всё печально.

Вот в наше время мы больше про гусар писали.

– Вы писали? – спросил Иван.

– Нет, я читал. Но мог бы, пожалуй.

Он отдал газету.

– А деньги за это дали?

Иван покраснел.

– Нет.

– Вот видите, – удовлетворённо сказал Мельников. – Я же говорю: поэзия вещь красивая, но хозяйство на ней не держится.

Отец, который до этого слушал разговор с усмешкой, вдруг сказал:

– Хозяйство, Пётр Андреевич, тоже не всегда на себе держится.

Мельников кашлянул.

– Это верно. Но всё же овёс надёжнее ямбов.

– А ямбы, может быть, переживут ваш овёс, – спокойно произнёс Юлий.

Сосед посмотрел на него с подозрением, не понял, шутка это или дерзость, и перевёл разговор на погоду.

Иван сидел молча. Он не чувствовал себя победителем.

Скорее, человеком, который случайно оказался на краю огромной дороги и увидел, что она уходит так далеко, что конца не различить.

Ночью он снова достал тетрадь.

Газета лежала рядом, аккуратно сложенная. На столе горела свеча. За окном шёл дождь – ровный, тихий; он стучал по крыше, по листьям, по стеклу. Дом спал.

Иван перечитал напечатанное стихотворение.

Потом закрыл глаза.

Ему представилась редакция в Петербурге: столы, чернильницы, чужие руки, которые развернули его письмо; редактор, возможно, усталый, возможно, равнодушный, прочёл несколько строк и решил: напечатать. Быть может, никакой особой причины не было. Быть может, для редакции это было мелочью.

Но для него – нет.

Он положил перед собой чистый лист.

Долго не писал.

Потом вывел первую строчку, остановился, зачеркнул. Написал другую. Она тоже не понравилась.

Он усмехнулся сам себе.

Ничего не изменилось. Газета не подарила ему готовых слов. Не сделала легче ни мир, ни его характер, ни тревогу дома, ни будущую нужду, о которой отец говорил всё чаще и всё мрачнее.

Но теперь у него было имя в печати.

И вместе с ним – обязанность не позволить этому имени стать случайностью.

За стеной кто-то тяжело прошёл по коридору. Ветер ударил в окно. Свеча дрогнула.

Иван наклонился над бумагой.

Он начал писать снова.

Глава 6. «Орловский вестник»

Орёл встретил его дождём.

Не тем весенним дождём, после которого улицы пахнут молодой землёй и кажется, будто город вот-вот станет лучше, чем был; это был дождь осенний, затяжной, серый. Он не падал – висел в воздухе, пропитывал воротник, волосы, рукава, превращал мостовую в тусклую кашу и заставлял прохожих смотреть себе под ноги.

Иван сошёл с поезда с небольшим чемоданом, свёртком книг и адресом, записанным на клочке бумаги.

Ему было девятнадцать.

За последние два года он успел напечатать ещё несколько стихотворений, познакомиться с тем странным, почти физическим чувством, которое вызывает появление собственной фамилии под текстом, и понять, что печататься – не значит зарабатывать. Газеты принимали стихи охотно, иногда даже хвалили их, но хлеба за похвалу не покупали.

Дома становилось всё теснее не от людей – от обстоятельств.

Отец всё ещё говорил о делах, которые непременно наладятся. Мать всё ещё верила, что сыну надо учиться, читать, не размениваться на суету. Но Иван чувствовал: ему пора перестать быть тем, кого кормят, о ком беспокоятся, кому

дают деньги на дорогу, хотя сами не знают, где взять их к следующей неделе.

Когда появилась возможность устроиться в Орле в газету, он согласился почти сразу.

Работа в редакции «Орловского вестника» не была мечтой. Мечта представлялась ему иначе: тихая комната, книги, свободное утро, лист бумаги, за которым можно сидеть до заката, никому не объясняя, почему одно слово надо заменить другим. Но человек, которому нужно жить, редко получает мечту в чистом виде.

Ему предложили место помощника редактора, корректора, газетного работника – всё сразу и ничего определённого.

– Будешь делать то, что требуется, – сказал Юлий. – Это хорошая школа.

– Какая школа? – спросил Иван. – Исправлять чужие ошибки?

– Во-первых, это полезно. Во-вторых, ты увидишь, как устроена печать. В-третьих, работа не унижает человека.

– Даже если он пишет объявления о продаже коров?

Юлий посмотрел на него внимательно.

– Особенно тогда. Если он пишет их хорошо.

Редакция помещалась на втором этаже дома, который снаружи выглядел так, будто в нём должны жить люди почтенные и безнадёжно скучные: тёмный фасад, облупившаяся лепнина, тяжёлая дверь, лестница с протёртыми ступенями.

Внутри было шумно.

Кто-то спорил о передовой статье. Кто-то искал потерянную гранку. Молодой наборщик, испачканный типографской краской, таскал полосы бумаги. В углу сидел пожилой корреспондент с бородкой клинышком и писал заметку о пожаре на окраине, время от времени вытирая перо о рукав.

Пахло свинцом, табаком, мокрой бумагой, клеем и дешёвым чаем.

Этот запах Иван запомнил сразу.

Он был некрасивым, но честным. В нём не было усадебной тишины, яблок, воска, старых переплётów. Он пах работой, которая не спрашивает, вдохновлён ли ты, хорошо ли спал, любишь ли дождь, есть ли у тебя настроение для литературы.

За столом у окна сидел редактор – Николай Андреевич, плотный мужчина с усталым лицом и глазами человека, который каждую минуту ждёт неприятности, но всё ещё надеется встретить чудо.

Он оглядел Ивана с ног до головы.

– Бунин?

– Да.

– Стихи пишете?

– Пишу.

– Это я видел. Нам тут нужен человек, который умеет ставить запятые не только в стихах.

– Я умею.

– Все так говорят. Потом выясняется, что они считают запятую признаком душевной тонкости.

Иван промолчал.

Редактор кивнул на стопку листов.

– Вот. Прочтите. Найдёте ошибки – отметьте. Не найдёте – тоже отметьте, где их не нашли.

Это была шутка, но Иван не сразу понял.

Он сел.

Текст оказался заметкой о земском собрании. В ней говорилось о дорогах, налогах, ремонте моста, закупке учебных пособий и необходимости «неуклонного содействия благосостоянию местного населения». Фраза была длинной, тяжёлой, с таким количеством родительных падежей, что к концу предложения уже нельзя было вспомнить, кто именно кому содействует.

Иван взял карандаш.

Через час он принёс лист обратно.

Редактор посмотрел на пометки, поднял брови.

– Вы это всё исправили?

– Там были ошибки.

– Там была русская административная жизнь. Её нельзя исправить одной запятой.

– Но можно хотя бы разделить предложение.

Николай Андреевич впервые улыбнулся.

– Ладно. Оставайтесь.

Первые недели он жил как в горячке.

Утром приходил в редакцию, разбирал корреспонденцию, читал присланные стихи, исправлял опечатки, относил материалы в типографию, возвращался, переписывал заметки, слушал споры, пил чай из стакана с трещиной на краю. Вечером, когда другие расходились, он иногда оставался ещё ненадолго – не потому, что от него этого требовали, а потому, что не хотел уходить.

Газета рождалась на его глазах.

Сначала она существовала как ворох рукописей, обрывков, телеграмм, чужих амбиций и мелких происшествий. Потом превращалась в строки, колонки, полосы. Наборщики выкладывали букву к букве, слово к слову. Машины грохотали. Наутро газету развозили по городу, и люди читали её за чаем, в лавках, в канцеляриях, на вокзале.

Ивану нравилось это превращение.

Он впервые видел, как слово перестаёт быть только личным признанием. Становится известием, мнением, оружием, утешением, поводом для скандала, предметом насмешки. Одна неловкая фраза могла обидеть человека; один пропущенный факт – вызвать возмущение; одно осторожное замечание – рассердить тех, кому казалось, что газета обязана подтверждать их правоту.

– Запомните, Иван Алексеевич, – сказал как-то Николай Андреевич, когда они правили заметку о городском голове. – Газета существует между двумя опасностями.

– Какими?

– Между тем, что нельзя писать, и тем, что никто не станет читать.

– А если написать правду?

Редактор вздохнул.

– Молодой человек, правда – не телеграмма. Её не всегда удаётся передать в двадцати словах. И не всегда за неё платят.

– Значит, надо писать неправду?

– Нет. Надо писать так, чтобы завтра газету не закрыли, а читатель всё-таки понял, что вы хотели сказать.

Ивану этот ответ не понравился.

Ему казалось, что правда должна быть прямой, как дорога зимой: видна издалека, жёсткая, холодная, без обходов. Но редакционная жизнь скоро научила его: прямые дороги редко ведут туда, куда хотелось бы; а человек, который идёт по ним с гордо поднятой головой, иногда просто не замечает канавы.

В «Орловском вестнике» печатали всё.

Сообщения о балах и земских заседаниях. Известия о пропавших лошадях. Некрологи. Стихи провинциальных учительниц. Жалобы на грязь у рынка. Рассуждения о народном образовании. Объявления о продаже фортепиано, швейных машин, щенков, усадеб, часов, мёда и надежды на счастливое замужество.

Особенно Иван любил объявления.

В них человеческая жизнь сжималась до нескольких строчек и становилась отчётливее многих романов.

«Вдова, 32 лет, образованная, музыкальная, желает познакомиться с лицом честного характера...»

«Продаётся пара серых лошадей, смирных, но резвых...»

«Потерян золотой медальон. Нашедшего просят возвратить за вознаграждение...»

«Молодой человек с образованием ищет место...»

Он долго смотрел на последнее объявление.

Потом спросил наборщика:

– Кто его подал?

– Какой-то студент, кажется.

– А место нашёл?

Наборщик пожал плечами.

– Газета не брачная контора и не ангельское ведомство.

Напечатали – дальше сам.

Иван подумал, что и его собственная судьба могла бы уместиться в таком объявлении: «Молодой человек, дворянского происхождения, без законченного образования, пишет стихи, нуждается в заработке и в уверенности, что не напрасно существует».

Но подобные объявления, вероятно, принимали только за отдельную плату.

Варвару Пашенко он увидел в редакции во вторник.

Она вошла около полудня – быстро, без кокетства, с папкой под мышкой и каплями дождя на тёмной шляпке. На ней было скромное серое платье, слишком простое для девушки, которую можно было бы назвать красивой в привычном смысле. Но Иван сразу заметил её лицо: живое, умное, с внимательными серыми глазами и упрямой линией рта.

Она подошла к редактору.

– Николай Андреевич, я принесла корректуру.

– Вы опять спасли нас от позора, Варвара Владимировна?

– Не преувеличивайте. От позора вас спасает только то, что читатели ленивы.

Редактор усмехнулся.

– Познакомьтесь. Иван Алексеевич Бунин, наш новый сотрудник. Иван Алексеевич, Варвара Владимировна Пашенко. Она знает о газете больше, чем все мы, и потому получает меньше всех.

– Не все, – сказала она. – Наборщики получают ещё меньше.

Иван поднялся.

– Очень приятно.

– Посмотрим, – ответила она.

Он не понял, шутит ли она.

Она положила на стол папку, начала объяснять редактору какие-то исправления. Говорила быстро, ясно, не подбирая лишних слов. В одном месте она заметила, что заметка о благотворительном вечере написана «так, будто автор лично

получил деньги от каждой сироты губернии».

– Там просто много прилагательных, – возразил Николай Андреевич.

– Прилагательные в таких случаях – самый дешёвый вид пожертвования.

Редактор рассмеялся.

Иван тоже улыбнулся, но тут же заметил, что Варвара смотрит на него. Не насмешливо, скорее испытующе – словно она уже поняла, что перед нею молодой человек, который хочет казаться серьёзнее, чем есть, и потому будет особенно уязвим для всякой иронии.

В этот день они почти не разговаривали.

Но вечером, вернувшись в свою комнату, Иван вдруг вспомнил не её слова, а то, как она держала карандаш: крепко, чуть испачкав пальцы типографской краской.

В следующие дни он стал замечать Варвару повсюду.

Она появлялась утром с пачкой писем, днём спорила с редактором, вечером сидела за отдельным столом и правила корректуру. Иногда уходила раньше; иногда задерживалась до темноты. Она не была в редакции случайной посетительницей – это было видно по тому, как наборщики обращались к ней, как Николай Андреевич спрашивал её мнение, как она сама, не повышая голоса, умела остановить любой беспорядок.

– Варвара Владимировна, – сказал как-то корреспондент

с бородкой, – вы слишком суровы к моему стилю.

– У вас не стиль, Пётр Семёнович. У вас привычка не ставить точку.

– Точка убивает полёт мысли.

– В таком случае ваша мысль давно должна была разбиться.

Иван едва не рассмеялся вслух.

Варвара услышала и повернулась к нему.

– Вам весело?

– Нет. То есть... да.

– Значит, вы согласны со мной?

– Я ещё не читал статью.

– Вот и правильно. Не соглашайтесь с людьми, пока не знаете, о чём речь.

Эту фразу она произнесла без улыбки, но Иван почувствовал, что она обращена не только к нему. Как будто в мире существовало множество людей, готовых соглашаться, возмущаться, любить, ненавидеть – не потрудившись понять, что именно происходит.

Он подумал: Юлий сказал бы то же самое.

Эта мысль ему почему-то не понравилась.

Однажды вечером Николай Андреевич ушёл раньше обычного, оставив Ивана и Варвару закрывать редакцию.

За окнами уже темнело. Дождь наконец прекратился, но с улицы тянуло сыростью. В типографии внизу ещё грохотали

машины; их ровный металлический стук отдавался в полу.

Варвара сидела над гранками. Иван разбирал письма.

Молчание продолжалось долго.

Он несколько раз хотел что-то сказать – о погоде, о статье, о том, что у неё на пальце чернильное пятно, – но всякая фраза казалась ему глупой.

Наконец он увидел конверт со стихами и спросил:

– Вы любите стихи?

Она подняла глаза.

– Иногда.

– А какие?

– Хорошие.

– Это очень точный ответ.

– Я старалась.

– А плохие?

– Плохие особенно любят те, кто их пишет.

Он почувствовал, как краснеет.

– Я тоже пишу.

– Я знаю.

– Откуда?

– В редакции об этом говорят с первого дня. Николай Андреевич считает, что поэт в штате – всё равно что канарейка в лавке: пользы немного, но посетителям приятно.

Иван рассмеялся.

– А вы читали?

– Что именно?

– Мои стихи.

– Нет.

– Хотите?

Она чуть наклонила голову.

– Вы всегда так быстро переходите к самому опасному?

– К какому опасному?

– К тому, когда человеку предлагают оценить то, что для вас важнее, чем вы готовы признать.

Иван опустил взгляд на письма.

– Я не боюсь оценки.

– Все боятся. Просто одни начинают спорить, а другие делают вид, что им всё равно.

– А вы?

– Я? Я стараюсь не давать оценок, если меня не просят.

– Я попросил.

Варвара посмотрела на него ещё раз – внимательнее прежнего.

– Тогда приносите.

Он принёс тетрадь на следующий день.

Всю ночь выбирал, что показать. Старые стихи казались слишком ребяческими. Новые – недостаточно законченными. Одно стихотворение он переписал три раза, потом решил, что в переписанном варианте исчезло самое живое. В конце концов оставил несколько стихов: о дороге, о поздней осени, о доме, который снится человеку в чужом городе, хо-

тя сам Иван ни в каком чужом городе ещё не жил.

Варвара взяла тетрадь спокойно.

– Когда вернуть?

– Когда прочтёте.

– Это не ответ.

– Завтра?

– Хорошо.

Весь день он не мог работать.

Он делал ошибки в корректуре, перепутал даты в заметке, дважды ходил в типографию без нужды. Николай Андреевич, заметив его рассеянность, спросил:

– Влюбились?

– Нет.

– Тогда, вероятно, написали передовую статью.

Иван ничего не ответил.

– Значит, влюбились, – удовлетворённо заключил редактор.

– Я просто устал.

– В девятнадцать лет устают только от любви и отсутствия денег. Всё остальное называется развлечением.

Иван хотел возразить, но не смог: он был зол на редактора за то, что тот угадал невозможное раньше, чем он сам успел это понять.

На следующий день Варвара вернула тетрадь.

На обложке лежал её карандаш.

– Ну? – спросил Иван.

– Вы хотите похвалу или правду?

– Правду.

– Это тоже похвала, если её пережить.

Он ждал.

– У вас есть слух, – сказала она. – Вы иногда очень точно слышите фразу. И видите. Когда пишете о дороге, о снеге, о доме – там есть ваше.

Он почти перестал дышать.

– Но?

– Но вы всё время боитесь, что этого мало. И начинаете украшать. Вот тут, например: «страдальческая душа осени». Что это значит?

– Осень грустная.

– Тогда так и пишите. Или не пишите вовсе, если слово «грустная» вам не подходит. Но зачем осени душа и почему она страдальческая? Она что, не собрала урожай?

Иван рассмеялся, хотя ему было больно.

– Это плохая строчка?

– Очень.

– А это?

Она перелистнула страницу.

– Эта лучше. Здесь вы не стараетесь выглядеть поэтом.

– А я должен стараться быть поэтом.

– Нет. Поэтом вас всё равно сделают не старания. Стараться надо быть честным.

Он посмотрел на неё.

Юлий говорил почти то же. Но из уст Варвары эти слова звучали иначе – не как урок, а как требование, которое она предъявляла прежде всего себе.

– Вы много читаете? – спросил он.

– Сколько могу.

– А что хотите?

– Работать так, чтобы не зависеть от чужой милости. Читать то, что мне интересно. Не выйти замуж только потому, что женщине положено выйти замуж. И не слушать людей, которые объясняют, как должна жить приличная девушка.

– Это трудно.

– Конечно. Если бы было легко, этим занимались бы все.

Иван хотел сказать, что она сможет всё, что захочет. Но это прозвучало бы глупо и слишком похоже на комплимент, которым мужчина заранее освобождает себя от необходимости понять женщину.

Поэтому он сказал:

– Вы очень строгая.

Варвара улыбнулась.

– А вы очень молодой.

В тот вечер они вышли из редакции вместе.

Город был мокрый, блестящий. В лужах горели жёлтые огни. По мостовой грохотали экипажи. Возле булочной пахло свежим хлебом, и этот запах вдруг оказался таким сильным, что Иван вспомнил Бутырки, мать, тёплую кухню, осенний

сад.

Варвара шла быстро, придерживая юбку.

– Вы далеко живёте? – спросил он.

– Достаточно.

– Я могу проводить.

– Можете. Но не обязаны.

– Я хочу.

– Это разные вещи.

Он улыбнулся.

– Вы всегда так разговариваете?

– Как?

– Будто проверяете каждое слово.

– А вы разве нет?

– Нет.

– Заметно.

Он засмеялся.

Они шли по улице, и Иван вдруг понял, что давно не чувствовал себя так легко. Не потому, что сказал что-то удачное или получил надежду. Напротив: рядом с Варварой нельзя было спрятаться за красивой фразой. Она замечала неточность, лень, позу – и, похоже, не боялась назвать их своими именами.

Но это не унижало его.

Это заставляло хотеть быть лучше.

У перекрёстка она остановилась.

– Мне сюда.

– Завтра увидимся?

– Если газету не закроют за ночь.

– А если закроют?

– Тогда найдём другую.

Она кивнула и пошла дальше.

Иван остался на углу.

Дождь снова начинался – мелкий, почти невидимый. Город шумел вокруг, жил своими делами, продавал, покупал, спешил, спорил. В окнах редакции на втором этаже ещё горел свет. Там набирали завтрашнюю газету, где будут чужие новости, чужие объявления, чужие слова.

И, быть может, несколько его строк.

Он поднял воротник и пошёл домой пешком.

Впервые за долгое время будущее не казалось ему ни огромной дорогой, ни тёмной пустотой.

Оно было похоже на освещённое окно в мокром городе: до него ещё нужно дойти, но оно уже существует.

Глава 7. Варвара

Зима в Орле была длинной, слякотной и злой.

Снег то выпадал густо, закрывая грязь на мостовых и делая город на несколько часов почти нарядным, то вдруг таял под тёплым ветром, превращая улицы в глубокую серую кашу. К вечеру подмораживало, колеи становились бугристыми, лошади скользили, извозчики ругались так изобретательно, словно каждый из них тайно сочинял собственный словарь русского отчаяния.

Иван ходил в редакцию пешком.

Денег на извозчика почти не было, да и пешая дорога теперь нравилась ему: он знал, в каком окне по утрам зажигался свет раньше других, где торговец выставлял на крыльцо бочки с селёдкой, где у булочной пахло свежим хлебом, а где – сырыми дровами и конским навозом. Город переставал быть чужим, когда замечаешь его привычки.

Он замечал их всё лучше.

Но чаще всего он замечал Варвару.

Она не стала с ним мягче после того, как прочла его тетрадь. Напротив, словно решила, что раз он сам попросил правды, то избавлять его от неё теперь было бы нечестно.

– Вы опять поставили в заметке «великолепный», – сказала она однажды, просматривая его короткий отчёт о бла-

готовительном вечере.

– Там действительно был хороший концерт.

– Хороший – не великолепный.

– Публика аплодировала.

– Публика аплодирует и фокуснику, если он не уронил голубя.

– Вы были на вечере?

– Нет.

– Тогда откуда знаете?

– От вас. Вы написали о публике больше, чем о музыке.

Значит, музыку вы толком не слушали.

Иван взял лист.

– Вы невозможная.

– А вы невнимательный.

– Я внимательный.

– К себе – да.

Он хотел возразить, но не нашёл слов.

Варвара вернулась к корректуре, а он сидел напротив, испытывая раздражение, которое с каждым днём всё яснее смешивалось с восхищением. Ему хотелось доказать ей, что она ошибается. Хотелось, чтобы она заметила его старание, его работу, его способность учиться. Хотелось увидеть на её лице не эту спокойную, чуть насмешливую сосредоточенность, а выражение, которое принадлежало бы только ему.

Это было опасное желание.

Он ещё не решался назвать его любовью.

Любовь в его представлении должна была быть большой, почти роковой: с письмами, бессонными ночами, отчаянием, может быть, даже дуэлью, если уж судьба особенно расщедрится на драму. А здесь всё складывалось иначе. Варвара просто сидела за столом, склонясь над гранками; поправляла выбившуюся прядь; поджимала губы, когда замечала нелепую ошибку; иногда, забывшись, улыбалась какой-то мысли – и от этой улыбки день становился другим.

Однажды он увидел, как она помогает старому наборщику разобрать рассыпавшийся ящик с литерами.

Тот сердился, ворчал, уверял, что справится сам.

– Конечно, справитесь, – сказала Варвара. – Только к Пасхе. А газета нужна завтра.

– Женское дело – не в свинце копать.

– А мужское, стало быть, – рассыпать его по полу?

Наборщик буркнул что-то неразборчивое, но позволил ей помочь.

Иван стоял в дверях и смотрел, как она собирает маленькие металлические буквы. Пальцы у неё были тонкие, но движения – быстрые, уверенные. Он вдруг подумал, что Варвара умеет обращаться с реальностью так же, как с корректурой: не жалуется на беспорядок, не делает из него трагедии, просто берёт и приводит всё в порядок.

Ему самому это было почти недоступно.

Он умел смотреть на хаос, страдать от него, писать о нём. Но разобрать рассыпавшиеся литеры – нет, это казалось де-

лом другого, более взрослого мира.

Вскоре он стал приносить ей книги.

Сначала это было легко объяснить: в редакции все обменивались книгами, журналами, газетами. Он дал ей томик Фета, потом сборник стихов Полонского, потом принёс Тургенева, который, как выяснилось, она уже читала и любила.

– Вы думаете, я живу в пустыне? – спросила Варвара, принимая книгу.

– Нет. Но вы говорили, что читаете, сколько можете.

– Это не значит, что я читаю только то, что вы мне принёсёте.

– Я не думал...

– Думали.

Иван улыбнулся.

– Хорошо. Думал.

Она посмотрела на него чуть мягче.

– А что вы хотите, чтобы я прочла?

Он замялся. Ему хотелось сказать: всё, что люблю я. Чтобы она увидела то же, что видит он; чтобы слова, которые волнуют его, звучали и для неё. Но это желание вдруг показалось слишком властным.

– Не знаю, – ответил он. – Может быть, то, что вам понравится.

– Вот это разумнее.

Через несколько дней она вернула книгу, вложив между

страницами узкую полоску бумаги.

«Фет прекрасен, когда не старается быть прекрасным», — было написано её ровным почерком.

Ни подписи, ни обращения.

Иван носил записку в кармане несколько недель.

Весной Варвара согласилась пойти с ним на прогулку.

Это произошло не вдруг. Они уже несколько раз выходили из редакции вместе, иногда доходили до перекрёстка, иногда — до её улицы. Но всегда это можно было назвать случайностью: темно, дождь, одна дорога, разговор о газете.

В тот день было сухо и холодно. Над Орлом стояло высокое небо, мостовые блестели после недавнего дождя, на голых ветвях появились первые тугие почки.

Иван задержался у её стола.

— Вы сегодня спешите?

— А зачем вам?

— Я хотел... пройтись.

Она подняла глаза.

— По делу?

— Нет.

— Тогда это, должно быть, опасно.

— Почему?

— Потому что бесцельные прогулки обычно заканчиваются разговорами, которых потом стесняются.

Он почувствовал, как у него загорелись уши.

– Я не буду говорить ничего такого.

– Это ещё опаснее. Значит, вы всё уже придумали и собираетесь молчать.

Он рассмеялся – слишком громко, но Варвара всё же надела пальто.

Они пошли к реке.

Весенний Окский берег был пустынен. Вода несла ветви, щепки, прошлогодний мусор. На другой стороне темнели дома, над крышами поднимался дым. Ветер был холодный и пах рекой – сырой, тяжёлой, освобождающейся ото льда.

Некоторое время они шли молча.

Иван всё ждал подходящего момента. Но подходящий момент не приходил. Были только шаги по мокрой земле, ветер, шорох юбки, звуки города за спиной.

Наконец Варвара сказала:

– Вы сегодня необычно тихи.

– Я думаю.

– Это похвально. Обычно вы думаете уже после того, как сказали.

– Я не всегда такой.

– Иногда ещё хуже.

Он посмотрел на неё.

– Почему вы со мной всё время спорите?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.